

РУССКАЯ РЕЧЬ 1979

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

Научно-популярный журнал Института русского языка Академии наук СССР • Основан в 1967 году • Выходит 6 раз в год • Издательство «Наука» • Москва

В номере:

<i>К 110-летию Н. К. Крупской</i> М. А. Галманова. Устремленность в коммунистическое будущее	3
---	---

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<i>К 100-летию П. П. Бажова</i> В. А. Еремин. «...А дело его останется» . . .	10
В. В. Касаркин. «Над словом работаю...»	14
<i>К 210-летию И. А. Крылова</i> Т. С. Шеханова. «Знает и любит народ...»	20
Е. А. Потапова. Об эпитетах Ф. Тютчева . . .	27
В. В. Одинцов. О стиле монологов Чацкого	34
Р. И. Альбеткова. «Из-под таинственной, холодной полумаски...» М. Ю. Лермонтова . . .	40
А. И. Кузьмин. «Царскосельская статуя» А. Ахматовой	44
В. П. Ковалев. Неологизмы художественной прозы	48
Н. Г. Михайловская. Русский язык в творчестве Ювана Шесталова	52

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

Е. Осетров. Народное многоголосье	57
---	----

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«В земле корни, в глубине...» (из дневников Александра Яшина)	62
---	----

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА

А. Н. Мартынова. Обращение в русской колыбельной	73
--	----

КУЛЬТУРА РЕЧИ

К. С. Горбачевич. Русское ударение	77
Л. К. Граудина. «Наш век породнил под- снежник и цифру...»	82
И. Г. Милославский. Доктор пришел — док- тор пришла (род существительного и пол су- щества)	87
С. И. Виноградов. Отвечает «Служба языка»	90

ЛЕКСИКА

Г. Н. Складеревская. Атом и его родствен- ники	94
И. М. Юрковский. Атака	98

ДРЕВНЯЯ КУЛЬТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ

С. Н. Травников. Язык и стиль «Путешествия Иоанна Лукьянова»	102
Т. Н. Кондратьева. Кузьмодемьян-свадебник	108

НА КАРТЕ РОДИНЫ

А. В. Барандеев. Братск	112
Т. В. Сергеева. Названия некоторых сибир- ских деревень	115

ОЛИМПИЙСКИЕ АРЕНЫ МОСКВЫ

Г. П. Смолицкая, М. В. Горбаневский. Лужники	119
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Е. А. Левашов. Зарядка	125
Г. П. Смолицкая. Кудеяр	128
Г. М. Макеева. Батрак	133
В. А. Филатов. Закром	136

СРЕДИ КНИГ

В. Г. Костомаров. В. В. Виноградов	138
История русских лингвистических учений	140
М. И. Исаев. Новый труд по социолингвистике	142
М. К. Шарашова. «Русская опомастика»	142

В. А. Никонцов. Из словаря русских фамилий (продолжение)	147
---	-----

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

Салага	130
Ордена и их названия; «Обуялый» и «обуян- ный»; Шпаклёвка — шпатлёвка; Ни граца — ни грамма	151



УСТРЕМЛЕННОСТЬ В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

**В непрерывном служении революционной идее —
смысл и содержание ее жизни.**

К л а р а Ц е т к и н

Н. К. Крупская, друг и соратник В. И. Ленина, была выдающимся педагогом. Интерес к профессии учителя зародился у нее еще в детстве и укрепился в процессе учебы в гимназии. Н. К. Крупская была убеждена в том, что в педагогической работе ее призвание.

Учась на математическом отделении Высших женских кур-

сов в Петербурге, Крупская посещала кружок революционного студенчества, где познакомилась с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса. «Марксизм,— писала она,— дал мне величайшее счастье, какое только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь».

Чтобы быть ближе к рабочим, Крупская в 1891 году поступила учительницей в вечернюю воскресную школу на окраине Петербурга, на Шлисельбургском тракте, где и вела активную политическую и педагогическую работу. «Я была влюблена в школу,— писала она в своих воспоминаниях,— и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы поговорить о школе, об учениках». Многие из ее учеников, например, И. В. Бабушкин, входили в кружок, который вел Владимир Ильич Ленин. В этом кружке и познакомилась Надежда Константиновна с Лениным, став ему другом, соратником, женой.

Еще до Великой Октябрьской социалистической революции, выступая в печати по педагогическим вопросам, Надежда Константиновна стремилась, во-первых, показать классовый характер школы в царской России и, во-вторых, наметить пути развития новой школы, которая будет построена после победы пролетарской революции.

В 1917 году выходит в свет книга Н. К. Крупской «Народное образование и демокра-

тия» — первая марксистская книга по педагогике и истории педагогики, в которой развернуты идеи трудового воспитания, изложено учение Маркса и Энгельса о политехническом образовании, дано критическое освещение состояния школы и педагогики в капиталистических странах. Эта и ряд других работ Н. К. Крупской имели огромное значение для выработки основ новой социалистической педагогики.

Роль Надежды Константиновны в деле строительства советского просвещения, советской школы огромна. Сейчас же после победы Советской власти она была назначена членом Коллегии Наркомпроса, а с 1929 года — заместителем наркома по просвещению РСФСР, заведовала внешкольным отделом Наркомпроса, руководила сетью политико-просветительных учреждений, разрабатывала программы и принципиальные положения советской школы. Она также руководила рядом педагогических журналов, писала статьи и книги по педагогике, принимала самое непосредственное участие в повседневной жизни школы.

Н. К. Крупская считала, что основной, ведущей чертой советской школы и педагогики должно стать воспитание у советских детей коммунистического мировоззрения, большевистской целеустремленности и высоких волевых качеств. «Мы обязаны так воспитать учащегося, чтобы он научился понимать, что вокруг него делается, разбирался бы в механизме существующего строя, чтобы он изучал законы развития человеческого общества, понял взаимосвязь и, главное, чтобы он понимал, куда идет общественное развитие». Но этого недостаточно, «надо знать, как надо строить новую жизнь, надо не только знать, но и уметь это делать».

Этим основным задачам должно быть подчинено преподавание каждого предмета и весь стиль работы в школе.

Очень ценны высказывания Н. К. Крупской по научным основам гуманитарных наук. В частности, они касались проблемы овладения русским языком как орудием мысли и средством общения и проблемы соотношения критического и социалистического реализма, русской классической и советской литературы. Методологические высказывания Н. К. Крупской по вопросам литературы, хотя они были обращены в основном к учителям школы, имеют и литературоведческое значение. Поскольку литература является одним из основных предметов школьного преподавания и наиболее массовым средством идейного и художественного воспитания, Н. К. Крупская посвятила ей много статей, в которых подчеркивала образовательное и воспитательное значение художественной литературы.

Она писала: «Партийным духом должна быть пропитана программа по литературе». Яркое, правдивое отображение жизни — важнейшее требование, предъявляемое к произведениям художественной литературы и искусства. Идейность, общественное значение произведения должны сочетаться с совершенной формой его, с высоким профессиональным мастерством.

Особое внимание уделяла Н. К. Крупская детской литературе. Ей принадлежит инициатива создания детской энциклопедии. Надежда Константиновна под-

черкивала, что детские книжки нужно писать просто и понятно, «без мудрых слов и выкрутасов», показывать основные факты выпукло, четко, образно, живо и притом обязательно в движении, в действии. Хорошо написанные, они расширяют умственный кругозор подростка, приучают его наблюдать явления природы, понимать борьбу человека за овладение силами природы и техники.

Главную задачу школы, в частности учителя по литературе, Н. К. Крупская видела в том, чтобы пробудить у школьника интерес и любовь к ней, чтобы учащиеся много читали. «Самое главное в том, — говорила она, — чтобы полюбили литературу, чтобы в литературе молодежь получала в живых образах ответы на интересующие ее вопросы». Для воспитания любви к книге необходимо научить школьника анализировать произведения. Н. К. Крупская подчеркивала, что необходим и анализ художественной формы — композиции, языка и художественных приемов, с помощью которых автор добивается яркости и живости изображения.

Также много принципиальных, значительных советов дала Н. К. Крупская по вопросам изучения русского языка. Развитие языка она рассматривала в связи с развитием общества и мышления. «Язык есть великое средство сближения между людьми, их взаимного понимания», — писала она. Н. К. Крупская отмечала, что в нашей стране, где широко развита общественная деятельность, каждому человеку необходимо умение точно, ясно и ярко выражать свои мысли и чувства. «Русский язык сейчас изучается огромным количеством трудящихся советских республик, ибо это язык революционного народа, язык с большой литературой во всех областях знаний» (О преподавании русского языка). Н. К. Крупская утверждала, что новое, социалистическое общество является источником обогащения языка как со стороны словарного фонда, так и структуры его: «Горячее, могучее, богаче, интернациональнее будет становиться с каждым днем язык страны, где миллионами рук строится новый, социалистический уклад».

Н. К. Крупская справедливо указывала, что в СССР

созданы благоприятные условия сближения словарного состава и обогащения языков народов других национальностей. «Такие слова, как „трактор” и т. п., войдут в обиход всех языков. Мы идем к сближению национальных языков».

Вопрос о роли и месте русского языка в национальных республиках, в частности в школе, Н. К. Крупская связывала с ленинской национальной политикой. Она говорила о праве каждого советского человека учиться на своем родном языке, но вместе с тем считала, что все нерусские народы должны иметь возможность изучать и русский язык: «Русский должен изучить местный язык, но нельзя ставить преград к тому, чтобы широкие массы националов могли изучать на русском языке революционную литературу». Придавая большое значение приобщению всех национальностей СССР к богатой русской культуре и литературе, она писала: «Шовинизм был бы тогда, если бы мы обучали только на русском языке. Но если кто хочет обучаться грамоте на русском языке, мы должны пойти навстречу этому».

И действительно, многие люди других национальностей называют сейчас русский язык вторым родным языком. Он по праву стал языком межнационального общения.

*

Надежда Константиновна вела активную переписку с комсомольцами и пионерами. Ее «Письма пионерам» являются замечательным вкладом в советскую педагогическую науку. Очень интересны «Письма» по языку и стилю. Они написаны живо, просто, доходчиво, это душевный разговор старшего со своими младшими друзьями. Даже многие заголовки писем, например, такие, как «Береги книгу», «Будьте общественниками», «Будьте настоящими товарищами» — призывают, побуждают к действию, к делу, чему способствует и присутствие глагола в повелительном наклонении.

Многие письма написаны в форме вопросов и ответов. «Но что значит сообща бороться? Это значит, что каждый делает не так, как ему вздумается, а так,

как сообща обдумали, сообща решили. Для общей борьбы, для общей работы нужна большая организованность. Нужна сознательная дисциплина. Ее нужно с детства в себе воспитывать» (О сознательной дисциплине.— Здесь и далее цитируется: Н. К. Крупская. «Письма пионерам». М., 1938).

На конкретных, живых примерах Крупская объясняет ребятам основы морали, жизни в социалистическом обществе, например, в письмах «Надо учиться работать головой и руками», «Знания нужны в жизни, как винтовка в бою», «„Мое“ и „наше“», «О дружбе ребят всех национальностей» и другие.

Если Крупская употребляет слово, выражающее незнакомое для ребят понятие, то она его подробно объясняет. Так, говоря о том, что бюрократизм портит работу, что это большое зло, она дает толкование слова, перевод его с французского языка: «Слово „бюрократизм“ происходит от французского слова „бюро“, что значит контора, канцелярия». Затем следует объяснение смысла этого понятия: «Бюрократизм — это такое отношение к делу, когда в суть дела не вникают, сутью дела не интересуются, а обращают лишь внимание на форму, на бумажку». И как заключение следует краткая формулировка: «Бездушное, формальное отношение к делу и называется бюрократизмом» (Как бороться с пропусками и опозданиями). Итак, мысль подается отчетливо и в то же время образно, достигается особая точность определения понятия.

В письмах к пионерам Крупская ведет с ними беседу на злободневные для ребят темы и часто можно встретить в них разговорные слова и выражения, те, которые употребляли сами дети. Говоря о вреде опозданий, она рассматривает их причины, например, «выйдет другой ученик из дому во-время, да дорогой *вяжется в драку...* и в школу *запоздает*»; «Малые ребята остаются без всякого *призора*»; «Свободное от занятий время — не значит на спине лежать да в *потолок плевать*. Так от скуки *пропасть* можно»; «... чтобы без конца *развлекаться*, в кино да в театр ходить. *Надоест скоро, приестся*».

Обращение к ребятам в письмах дружеское, лас-

ковое: *парнишка, парень, мальчонка, дивчина* и другие. Часто можно встретить в них пословицы и поговорки: «Один в поле не воин», «Ум — хорошо, два — лучше» и т. п.

Письма написаны образно, в них можно найти все художественно-выразительные средства, например, эпитеты: «Надо отучиться ругаться, ссориться из-за выеденного яйца, заниматься пустопорожними разговорами», сравнения: «знания нужны в жизни, как винтовка в бою»; «в школе „пионер“ — всем детям пример“, а вышел из школы — точно с цепи сорвался...»; «без него де большевики обойдутся, как поется в песне».

Н. К. Крупская очень хорошо знала психологию детей, жила их интересами, заботами, и ребята понимали ее и любили, посылали ей письма, делясь в них самыми сокровенными мыслями и чувствами. Вот какое письмо прислал Надежде Константиновне мальчик 4-го класса, которому трудно жилось: «Приходили мне иногда в голову плохие мысли, хотел начать воровать у народа, но поборол себя. Потому что если я заворюю, на весь СССР ляжет стыд и позор».

Вера в человека, любовь и уважение к нему пронизывают теорию нравственного воспитания выдающегося советского педагога Н. К. Крупской.

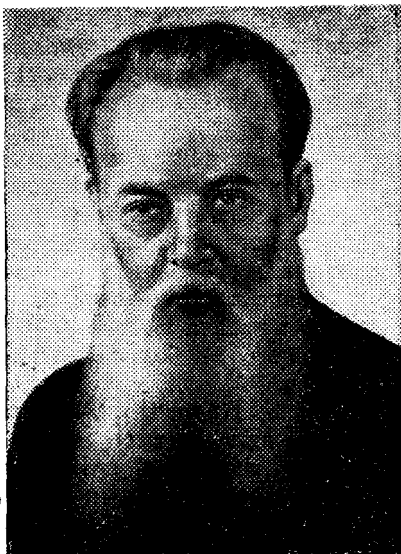
В. И. Ленин говорил, что «коммунизм должен стать доступным рабочим массам, как собственное дело» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41, с. 408). Эта задача начинает решаться уже в советской школе, в строительстве которой приняла деятельное участие Н. К. Крупская. Отсюда особая ответственность школы за подготовку миллионов юношей и девушек нашей страны таким образом, чтобы коммунизм действительно стал доступен для них, как собственное дело.

Н. К. Крупская внесла весомый вклад в советскую педагогику. Решение острых злободневных вопросов сочетается у нее с устремленностью в коммунистическое будущее.

М. А. ГАЛМАНОВА

К 100-летию
П. П. Бажова

«...А ДЕЛО ЕГО ОСТАНЕТСЯ»



«Малахитовая шкатулка»... Символическое название. Красивый, редкий камень малахит! «Радость земли собрана» в нем, говорил мастер-малахитчик Евлаха Железко. Но таким этот камень становится после того, как над ним потрудятся приметливый глаз и умелые руки мастера. Хорошо, творчески, «с полетом» потрудятся.

Павел Петрович Бажов всю свою большую и плодотворную жизнь разрабатывал богатейшую жилу — Урал с его веками складывавшимися трудовыми, революционными, языковыми традициями. Из этой неистощимой сокровищницы можно много и долго черпать еще. Заветом старого уральца Бажова звучат слова, сказанные им незадолго до смерти на встрече с писателями-земляками: «...нам, уральцам, живущим в таком краю, который представляет собой какой-то русский концентрат, представляет собой сокровищницу накопленного опыта, больших традиций, нам надо с этим считаться, это усилит наши позиции в показе современного человека».

Сказы сказывают люди бывалые. Бажов был таким бывалым человеком — первые сказы создавались, когда их автору миновало пятьдесят с лишним лет. Таким образом, главному труду Бажова — «Малахитовой шкатулке» — предшествовал богатейший опыт, Опыт, вобравший в себя

годы ученичества и учительства, старательного собирания фольклора, годы партийной, газетной, литературной работы и пытливого, плодотворного занятия вопросами краеведения.

Павел Петрович Бажов родился в 1879 году на Урале в семье потомственных горнозаводских мастеров. Его отец был замечательным специалистом, прямым, не дававшим себя и других в обиду человеком. Поэтому хозяева заводов, чтобы «проучить» не выдержанного на язык мастера, часто переводили его с завода на завод. Это, естественно, было связано с переездами всей семьи. В «Уральских былях», вспоминая детские годы, Бажов живо воспроизводит одну из сцен, связанную с очередным для его отца отказом от работы:

«— Ты что не собираешься? Ревело уж!

— Ладно без сборов. Отдохнем.

— Что ты! Отказали?

— Объявил вчера надзиратель — к расчету!

Мать готова заплакать. Отец утешает.

— Найдем что-нибудь. Не клином свет сошелся. На Абаканские вон которые едут...

Днем приходят соседки «посудачить». Винят больше отца.

— И когда угомонится человек?

— Мне Михайло когда еще говорил — непременно откажут твоему-то.

— Вон в кричном он Балаболку-то осадил: хоть стой, хоть падай!

Начинают припоминать отцовские остроты...».

Как говорится, нет худа без добра. Эти частые переезды с одного места на другое дали возможность будущему писателю многое увидеть, узнать, почувствовать. К семнадцати годам он хорошо познакомился с жизнью уральских рабочих, услышал немало захватывающих рассказов старожилков о былом житье-бытье в этих местах, о чудесах и реальных событиях, которые впоследствии так причудливо переплетутся в его знаменитых сказах и наполнят редкостной красоты и художественной ценности «Малахитовую шкатулку».

В автобиографических повестях «Зеленая кобылка» и «Дальнее-близкое» Бажов довольно подробно рассказывает о своем детстве, о тех «университетах», которые он прошел сначала на многих заводах Сысертского округа, затем и в духовной школе, где вынужден был учиться из-за не-

имения средств на светское образование. Около восемнадцати лет Бажов учительствовал. И каждый год во время летних каникул неизменно путешествовал по Уралу, записывал пословицы, поговорки, разного рода «побаски» и присловья, — словом, тщательно изучал устное народное творчество, живейший интерес к которому пронес через всю свою жизнь.

Переломным моментом в жизни Бажова явилась Великая Октябрьская революция. Она застала его в Камышлове уже зрелым человеком, активно участвующим в общественной жизни города. В это сложное и боевое время бывший учитель русского языка становится журналистом: редактирует «Известия Камышловского Совета рабочих и крестьянских депутатов», дивизионную газету «Окопная правда», а затем снова в Камышлове — газету «Красный путь», участвует в партизанском движении, избирается в городские и уездные комитеты партии.

В 1923 году Бажов приезжает в Свердловск. Здесь он также на журналистской работе, в областной «Крестьянской газете». По роду занятий ему долгое время приходится иметь дело с крестьянскими письмами. «Писем приходило — ужас! — вспоминает Бажов, — бывало, в день до шестисот, тысяч десять на год. Стилистика замечательная. Любовь к народному слову здесь окончательно и определилась. Отдельные выражения запади на всю жизнь и, вероятно, проникли в сказы».

Кроме «Крестьянской газеты» Бажов начинает сотрудничать в других изданиях Свердловска. В 1923 году здесь создается издательство «Уралкнига», а через год в нем уже выходят отдельным изданием публиковавшиеся ранее «Уральские были» — первая книга писателя. Бажов вспоминал: «...Пришли ко мне (речь идет о сотрудниках только что созданного книжного издательства — В. Е.). „Ты напиши что-нибудь об Урале“. — „Не путочное дело“. — „Да что-нибудь“. — „О сысертских заводах могу“. Согрешил книгой, впервые со мной случилось. Показалось удивительно легко. Над словом не думал. Запас был. Писал так, как у нас говорят. Когда пишешь на материнском и отцовском языке, да о том, что сам видел — легко».

Очерки Бажов пишет до середины 30-х годов. К двум книгам об истории Сысертских заводов прибавляются книги о партизанском движении в Сибири — «За советскую правду», об истории полков, в которых доводилось в годы

гражданской войны служить будущему писателю — «Бойцы первого призыва» и «Формирование на ходу», а также книга очерков об уральской деревне — «Пять ступеней коллективизации».

В 1936 году Бажов публикует первые четыре сказа. А через три года выходит в свет «Малахитовая шкатулка». В нее вошло уже четырнадцать произведений этого жанра. В последующие годы книга пополнялась новыми сказами. Работа над ними была главным делом Бажова с 1936 года до конца его жизни (он умер 3 декабря 1950 года). Главным, но не единственным. Став с выходом «Малахитовой шкатулки» членом Союза писателей, Бажов наряду с творческой ведет большую общественную работу как редактор периодических изданий, целого ряда книг и альманахов, в том числе по уральскому краеведению. Многие годы он возглавлял Свердловскую писательскую организацию, был главным редактором и директором уральского книжного издательства. Дважды трудящиеся Красноуфимского избирательного округа избирали его своим депутатом в Верховный Совет СССР. За книгу сказов «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажов в 1943 году был удостоен Государственной премии.

«Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется». Эти простые, но мудрые по своей сути слова Павла Петровича Бажова высечены на цоколе памятника над его могилой в Свердловске. Взяты они из сказа «Чугунная бабушка», посвященного одухотворенному труду-творчеству прославленного мастера чугунного литья Василия Федоровича Торокина, работавшего в конце XIX века на Каслинском заводе — одном из старейших заводов Урала. Не каждая работа — «штука долговекая», но торокинская стала именно такой. Созданные этим народным самородком, замечательным художником своего дела скульптуры и поныне не потеряли большой художественной ценности. Люди, подобные Торокину, создавали славу многим уральским заводам, закладывали те богатейшие традиции мастерства и умения, которыми по праву могут гордиться люди Урала социалистического, Урала индустриального.

П. П. Бажов был вдохновенным певцом этого края, его многотрудной истории и социалистической нови. И дело писателя — его книги уральских былей и сказов — стали ценнейшим наследием, которым с благодарностью пользуется уже не одно поколение советских людей.

Этим книгам суждена жизнь «долговекая».

В. А. ЕРЕМИН

«Над словом работаю...»



«Мне хорошо видно папино лицо. Оно сегодня очень усталое, а борода совсем белая. Он сидит за маленькой своей старой конторкой, горит настольная лампа и он что-то пишет... Он „для себя“, „для отдыха“, „впрок“, „для удовольствия“ составляет карточку, куда заносит все, что привелось ему услышать, вспомнить, прочесть в течение дня.

Сейчас я могу наугад взять из картотеки любую карточку...

Сила и задор. Задору много, да силенка мала. Силы накопил — задору не стало.

Старостью не укоряют. Молодостью не хвалятся.

Ногами обижен, не головой, такое терпеть можно.

Жизнь одна, да жить-то приходится по-разному...

Счастье руками берут.

Людей с мысли сбивать умеет, а нет, чтобы на думку натолкнуть», — вспоминает А. П. Бажова-Гайдар, дочь писателя, в книге „Дом на углу“. Сам Павел Петрович Бажов так шуточно говорил о своем творчестве: «Над словом работаю... Работа у меня ювелирная...».

Творчество большого уральского мастера широко известно в нашей стране и за рубежом по его удивительным былям и сказам. В своих произведениях он воспел труд, ум, силу, дух русского народа, природу Урала. Главные герои бажовских сказов — рудознатцы, рудобой, медеплавильщики, чеканщики, камнерезы,



Рисуя труд и быт рабочих, писатель особое внимание уделял их речи: разговорно-просторечной лексике, фразеологии, диалектизмам. Бажов говорил: «В словарях слово неподвижно. Слушаю его в повседневной речи, ищу в книгах, в действии, в жизни. Интересуют меня слова известные, но забытые в литературном языке. Я их очень ценю и подбираю».

В сказах широко представлены свойственные народной речи уменьшительные слова, придающие ей мягкую напевность, фонетические особенности, разнообразные тавтологические сочетания, имеющие функцию усиления, и парные, обычно синонимические, выражения, например: «*Старуху баушку* приказчик велел в ее *избушке* за постоянным караулом держать» (Кошачьи уши); «*Рада-радехонька* хоть одним *глазком* поглядеть, как барин поживает, на какой *постелушке* спит-почивает... *Скоренько* оделась в праздничный наряд, *буски* на себя пристроила и пошла дальше *невеста невестой*» (Золотые дайки).

Употребление уменьшительных слов служило порой и определенным выразительным целям. Так, например, в предложении «Тут еще *баринок* из заграничных бодрится» (Тяуткино зеркальце) словом *баринок* при помощи суффикса *-ок* передается презрительное отношение народа к своим угнетателям.

Стремясь к определенной образности, свойственной русскому языку, Бажов часто использовал в сказах слова и выражения с

особыми значениями, обычно метафорического происхождения: «Степан отвечает: — Меня уж раз *оплели*» (Медной горы Хозяйка); «Был в Полевой приказчик Северьян Кондратьич. Ох и лютой, ох и лютой! *Из собак собака. Зверь*» (Приказчиковы подошвы); «...начальство, понятно, ту награду *зажилило*» (Иванко Крылатко). Здесь *оплели* — ‘обманули’, *Из собак собака. Зверь* — ‘жестокый, кровожадный’, *зажилило* — ‘присвоило’.

Предельная близость языка сказов к народному складу речи проявляется и в употреблении писателем фразеологизмов, широко бытующих в народной среде: «Сказано — сделано. Пошел Илья лесом напрямую...» (Синюшкин колодец); «...стали скитники грозиться, их *ровно муха укусила*... У Звонца *зуб на зуб не попадает*, а Глафира распоряжается...» (Золотые дайки); «По деревьям разговор пошел, а мы *слухом не слышали*» (Тяжелая витушка).

В авторском повествовании часто встречается такая характерная деталь, свойственная народной речи, как пояснение: «Пошел к ней, а она рукой маячит, *обойди-де руду с другой стороны*» (Медной горы Хозяйка); «Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — *потаковщик-де...*» (Приказчиковы подошвы).

Как известно, в народной речи встречается и пословичный комментарий. Особенно часто использовал его в своих сказках Казак Луганский (Владимир Даль). Широко представлен этот комментарий и в бажовских сказках: «С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая редька... Старика от прозвища какая беда? *Хоть горшком назови, только в печку не ставь*» (Огневушка-Поскакушка); «Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали. Недаром слово молвлено: *старому с молодым и во сне не по пути — разное грезится*» (Золотые дайки); «Устенка, конечно, сразу хотела отворотить ему оглобли — насмех его подняла. Только Яшка на это шибко простой. Ему, как говорится, *плюнь в глаза, а он утрется да скажет: божья роса*» (Травяная западенька); «Руки-то ему только на то и надобны, чтоб языку пособить: где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато *языком Вавило*, как говорится, *горда брал*. Кого хочешь заставит уши развесить» (Золотые дайки); «Шибко жадный был, а сил настоящих еще не было... Одним словом, *свет бы захватил, кабы руки подольше*» (Тяжелая витушка); «Старикам лестно такое слушать, да и стаканчиками зарядился.— ...Желаю доказать, какие горщички бывают, ежели с понятием которых.— Правильно слово сказано: *пьяный похвалился, а трезвому отвечать*» (Орлиное перо).

Особо следует отметить использование Бажовым диалектизмов. Их в сказках много. При помощи диалектизмов автор стремился передать языковой колорит Урала. Кроме того, диалектная лексика являлась для Бажова важным средством художественной типизации, создания характерных портретов рассказчиков из рабочей среды. К использованию диалектизмов писатель подходил очень вдумчиво. Он говорил: «Местные особенности языковые использую осторожно... Я должен брать только такие слова, которые считаю ценными. Не говорю уральское „чо“. Красоты языку не дает. Ведет к злоупотреблениям в устной передаче».

Диалектизмы Бажов старался употреблять так, чтобы читателю было ясно по контексту, что, например, слово *место* синонимично слову *шкатулка*, *теплуха* — слову *печь*, а *малуха* — слову *избушка*: «Вот,— говорит,— тебе подарочек для твоей невесты,— и подает большую малахитовую *шкатулку*... Как же,— спрашивает парень,— я с эким *местом* наверх подымусь?» (Медной горы Хозяйка); «Избушка, видишь, худенькая, *теплуху* подтапливать надо... Таютка и мерзнет до вечера пока отец с рудника не придет да *печь* не натопит» (Таяutkiно зеркальце); «Там у него *малуха* была. *Избушка*, известно, небольшая» (Железковы покрывки).

Сказы Бажова порождены рабочей средой Урала, и поэтому в них включено много производственных диалектизмов: *изробленный* — 'потерявший силы на тяжелой работе', *каелка* — 'инструмент для добычи руды', *робить* — 'добывать руду', *чатинка* — 'царапинка', *blendочка* — 'рудничная лампа' и др.

Многие диалектизмы объясняются Бажовым в специальном перечне непонятных слов и выражений. В этом своеобразном писательском словаре даются не только толкования, в нем приводятся интересные данные о местности края, о труде и быте уральских рабочих.

В сказах встречается прием иронического снижения образов отрицательных персонажей, например: «Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на под *брякнула*» (Малахитовая шкатулка); «Немца в ту пору *жировало* на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили» (Иванко Крылатко). Глагол *брякнуть* обозначает действие, не соответствующее представлению о носителе верховной власти, *жировать* в прямом значении употребляется обычно по отношению к животным.

Говоря о методах и приемах использования народно-разговорной лексики, следует упомянуть и о прозвищах персонажей. Употребление их в сказах представляет собой отражение бытового яв-

ления. В заводских поселках Урала употребление прозвищ было настолько обычным, что порой настоящие фамилии жителей забывались. Прозвища интересовали Бажова как одно из средств создания образа.

Так, презрительное отношение рабочих к заводским приказчикам и надзирателям находит выражение в уничтожающих сатирических кличках, например: «Потом был *Жареный Зад*. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил *Северьян Убойца*», «О какой недостатке ему заговорят, одно кричит: пароть! Его *Паротей* и прозвали», «Потом, как *Полторы Хари* вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого *Паротю*» (Малахитовая шкатулка); «Что ему не покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали *Фуйко Штоф*» (Иванко Крылатко).

Наряду с презрительными кличками, Бажов часто использовал в сказах и добрые, шуточные прозвища, насыщенные свойственным русскому человеку юмором, например: «Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — *Полукарпыч*», «Подшучивали, значит. И прозвище ей придумали — *Счастливы Глазок*» (Ключ земли).

Прозвище имела и семья Бажовых. В 1939 году в альманахе «Золотые зерна» была опубликована повесть Бажова «Зеленая кобылка» под псевдонимом Егорша Колдунков. Писатель рассказывал: «Бажить — самое ходовое северное слово, означает — ворожить, но не угадывать, а предвещать, накликать. «Не бажи, себе не наворожи». Отсюда наше заводское, уличное прозвище — Колдунковы».

Герои бажовских сказов отличаются друг от друга не только именами и прозвищами, но и характером речи. Если в языке положительных персонажей много разговорно-просторечных слов, то язык отрицательных насыщен бранными словами и выражениями, свойственными определенной социальной среде. Используя прием речевой характеристики, Бажов стремился к тому, чтобы через речь персонажей у читателей складывалось определенное мнение о герое, например: «*Выпороть* его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не *издох*, давать ему *собачьей овсянки*... Чуть что — *драть нещадно!*» (Медной горы Хозяйка); «*Который день много народу избыет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю: — Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался*» (Приказчиковы подошвы).

Работая над языком сказов, Бажов возродил живой образный стиль уральских народных рассказчиков. От устного народно-поэтического творчества идут замысловатые русские присловья, остроумные намеки, рифмованные шуточки, отличающиеся яркой метафоричностью, музыкальностью; они способствуют повышению интереса читателя, развлекают его: «— Как, Яков Кирьяныч, живешь-поживаешь со вчерашнего дня? Что по хозяйству? Не окривел ли петушок, здорова ли кошечка? Как сам спал-почивал, какой легкий сон видел? — Да ничего,— отвечает,— все по-хорошему. Петух заказывал тебе по-соседски поклончик, а кошка жалуется: больно много сосед мышей развел — справиться сил нет. А соп, и точно, занятный видел» (Далеовое глядельце); «Рад стараться с жульем не вязаться» (Железковы покрывки); «И от всех ему наследство осталось. От отца — руки да плечи, от матери — губы да речи, от деда Игната кайла да лопата...», «— Ступай, говорит, прямо — повороты направо. Тут будет пень большой. Ты разбегись и треснишь башкой. Как искры из глаз посыплются — тут меня и увидишь...» (Синюшкин колодец).

В рифмованной балагурной форме порой выступают и имена собственные: «Цеди, Ульяна, всем допьяна!» (Жабреев ходок); «Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставленья» (Синюшкин колодец); «Заладила сорока Якова одно про всякого!» (Далеовое глядельце); «Ну, Вавило, живи как тебе мило, а я тебе больше не жена. Слыхала,— говорит,— сладких слов от тебя немало, да дела не видела» (Золотые дайки).

Сказы Бажова целиком основаны на метафоричности, на образности народного языка. Академик В. В. Виноградов в работе «Величие и мощь русского языка» писал: «Органическая связь литературного языка с народным придает русскому языку образность, меткость, красочность, мужественную сжатость». Эти слова в полной мере можно отнести к сказам выдающегося советского писателя Павла Петровича Бажова. Хорошо зная быт населения Урала, он сумел широко использовать возможности емкого, меткого, эмоционального народного слова.

В. В. КАСАРКИН

Рисунок В. Толстоногова




*К 210-летию
И. А. Крылова*

На одном из петербургских вечеров у Жуковского, у которого собирались Вяземский, Батюшков, Гнедич, Пушкин, где между С. Румянцевым, Сперанским, Олениным сидели Уваров, Дашков, — вспоминал П. А. Плетнев, — Крылов, пожилой, тяжелый и — неожиданно для своей тучности — живой человек искал что-то в бумагах на письменном столе.

«Что вам надобно, Иван Андреевич?» — спросили его.

«Да вот какое обстоятельство, — отвечал он, — хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист; а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством...» (цитируется по изданию: Собрание сочинений И. А. Крылова с биографией, написанною П. А. Плетневым, т. I, СПб., 1859).

Было начало девятнадцатого века — века, переполненного литературными событиями, именами и школами, века, обретающего легкий, изящный, гибкий — и вместе с тем весомый и могучий литературный язык — обретающего мучительно, через многократные отталкивания неудобоваримых иностранных конструкций, через отвержение напыщенных славянизмов, через отказ от ходульных восторгов возвышенной лексики, через преодоление беспомощно-неумелого копирования народного языка...



«ЗНАЕТ И ЛЮБИТ НАРОД...»

Было начало девятнадцатого века, и литература русского народа — и его философия — находила свой язык.

Иван Андреевич Крылов знал ту титаническую работу, которую вел XVIII век над языком. Он был не только свидетелем, но и активным участником ее.

Крылов — сын простого армейского офицера. Он начал писать в пятнадцать лет и писал до конца жизни, принес в салоны Петербурга и Москвы свой язык, на котором говорили мужики Оренбурга и Твери. Крылов, не получивший никакого систематического образования, в 20 лет издавал свой журнал «Почта духов» (1789), затем — «Зритель» (1792), затем — «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793). Крылов, бичующий галломанию, никчемность и пустоту высшего света, бичующий яростно и гораздо более открыто, чем многие писатели его века (хотя, на его взгляд, — «вполоткрыто»). Крылов, говорящий и пишущий таким русским языком, что не отличить пословицы, взятые им у народа и отданные им ему, — Крылов понимал, что такое «каждый лоскуток исписанной бумаги» здесь, где собирались основоположники русского литературного языка. На литературных вечерах Гнедич читал отрывки из «Илиады» и «Одиссеи», с точностью и доскональностью переведенных на чистейший русский, здесь звучали тонкие и изящные стихи Батюшкова и Вяземского, здесь Пушкин, не доверяя своей безупречной

интуиции и чувству языка, читал только что написанные стихи Жуковскому и неутомимо переделывал их. Шла беспримерная работа, и за любое свидетельство ее, Крылов понимал это, — «отвечай перед потомством...».

Фигура Ивана Андреевича Крылова в русской культуре занимает особое место. Литератор смелости отчаянной, мастер сатиры с юношеских лет, знаток театра и плодовитый драматург, тонкий лирик и — непревзойденный баснописец. Художник с безупречным вкусом, к суждениям которого прислушивались современные ему живописцы. Скрипач, который играл в ансамблях с известнейшими тогда музыкантами. Мыслитель, обладающий умом пронизательным и независимым, черпающим впечатления для размышлений — отовсюду. Его юношеская активность сменилась к старости замкнутым и уединенным образом жизни. Но он мыслил так же, как в юности, — дерзко и необузданно.

В «Почте духов» гном Буристон называет актера народным шутом. Крылов вкладывает в его уста такие слова: «Лучше заставлять народ смеяться или принимать участие в мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми с ним поступками. Есть шуты, которые очень дорого стоят своему народу, но мало его забавляют; а мы из числа тех, которым цена назначается от самих зрителей по мере нашего дарования и прилежания, а не по проискам и не по знатности покровителей. Сверх же того, мы из числа тех шутов, которые не подвержены пороку публичной лести: мы и перед самими царями говорим хотя не нами выдуманную, однако ж истину, между тем как вельможи, не смея перед ними раскрывать философических книг, читают им только оды и надутые записки об их победах».

Этой идее — «истину царям с улыбкой говорить...» — посвятил всю жизнь Крылов. Но с улыбкой неповиновения, часто граничащей с издевательством.

Грибоедов, ученик Крылова и его последователь (пожалуй, единственный из учеников, чьи стихи из «Горя от ума», подобно стихам учителя, возвратились к народу пословицами и крылатыми словами), вложил в уста одного из своих героев оценку басен тогдашним светом:

Ох! басни смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хоть и животные, а все-таки цари.

Всех басен Крылова — около двухсот. В 1806 году в «Московском зрителе» были опубликованы две басни — «Дуб и Трость» и «Разборчивая невеста», с которых начался путь Крылова-баснописца. Плетнев отмечает: «Так, почти за 39 лет до своей кончины Крылов был поставлен судьбою на ту дорогу, которая привела его к бессмертию». Когда потом у прославленного уже баснописца спросили, почему он пишет теперь только басни, Крылов ответил: «Этот род понятен каждому; его читают и слуги и дети».

В начале XIX века один из критиков представил картину развития русской басни так: «Мы очень богаты притчами. Сумароков нашел их среди простого народа; Хемницер привел их в город; Дмитриев отворил им двери в просвещенные образованные общества». Кто-то из недоброжелателей Крылова подхватил: «Сумароков нашел басню в поле, Хемницер привел ее в город, Дмитриев ввел ее во дворец, Крылов вывел на площадь». Но прозвучало это язвительное замечание — в похвалу Крылову.

Действительно, он максимально приблизил басенный жанр к его исконно народной основе. Столь традиционный классицистический жанр, как басня, был обновлен за счет языка. Сумароковские басни несли книжный характер. Басни Дмитриева представляли собой лишенные сатирической соли, безобидные салонные «безделушки» правоучительного характера. В баснях же Крылова — подлинно народный язык «возводится в ранг литературного», по словам Н. Л. Степанова, исследователя творчества И. А. Крылова. Диктуемые жанром условность и аллегория наполняются таким реалистическим содержанием, которое дает право рассматривать каждую басню как маленький эпизод пьесы, сценку из театрального действия. В крыловском басенном творчестве счастливо соединился опыт сатирика-публициста, лирика и драматурга.

Журнальные зарисовки Крылова предвосхищают темы басен: «Проносить 70 лет голову и не сделать из нее никакого употребления. Прожить век на скотном дворе и ограничить отличие свое от животных только тем, чтоб ходить на двух ногах! Иметь душу и не дать никому приметить, что ее имеешь, или, что еще более, самому этого не заметить!».

Без одических преувеличений и без идиллических прикрашиваний представляет Крылов свой внутренний мир в лирике. И мы слышим, как легко и свободно, местами — почти по-пушкински — льется лукавый стих:

Я, правда, денег не имею.
Так что же? — Я занять умею.

Проснувшись с раннею зарею,
Умножить векселя лечу.
Увижу ль на глазах сомнение —
Чтоб все рассеять подозренье,
Проценты клятвами плачу...
К другу моему А. И. К <лушину>

Слышим и горькие грибоедовские интонации:

Искусников со всех мы кличем стран.
Упомнишь ли их всех, моя ты муза?
Хотим ли есть? — дай повара-француза,
Британца дай нам школить лошадей;
Женился ли, и бог дает детей —
Им в нянюшки мы ищем англичанку;
Для оперы поставь нам итальянку,
Джонсон — обуй, *Дюфо* — всчеси нам лоб,
Умрем, и тут — дай немца сделать гроб.

Послание о пользе страстей

Крылов-комедиограф перенес в басни живость диалога, динамику интонаций и жестов, характерность речи персонажей. Белинский писал: «Басни Крылова — не просто басни: это повесть, комедия...». Хотя сюжеты и ситуации — подчас традиционны, даже — заимствованы, хотя традиционны и басенные герои (хитрая Лиса, трусливый Заяц, глупый Осел...), но это не мертвые, застывшие условные маски, а живые образы с убедительно-достоверными деталями, с точной индивидуализацией. Несмотря на это, вернее — вместе с этим — крыловские басни отличаются широтой художественного обобщения. Перед читателем развертываются реалистически схваченные картины живой действительности.

У Крылова, которого Пушкин ценил за «живописный способ выражаться», торжествует точность выразительных средств, преобладает ориентация на произношение, точнее — «проигрывание» басен.

Герои басен предстают перед читателем со своими интонациями и особенностями словаря. Это — крестьяне и чиновники, купцы и дворяне. И ситуации, разрабатываемые в баснях, глубоко народны по своему духу. «Как все по-русски — чудо!» — восторгался современник и друг Пушкина, историк М. П. Погодин.

Использование диалектных форм, фразеологии разговорного языка, обращение к пословицам и поговоркам, проникновение в тайны народного словоупотребления делало Крылова мастером яркой, выразительной русской речи. И меткие фразы типа: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», «Услужливый дурак опаснее врага», «А ларчик просто открывался», «Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона», «А Васька слушает да ест», «Да наши предки Рим спасли!» — своей смысловой концентрацией близки к пословицам. Здесь «в индивидуальной литературной речи Крылова как бы продолжается на наших глазах процесс коллективного народного мышления и народного творчества» (Д. Д. Благой). Отсюда — пословичный характер приобрели даже заглавия некоторых басен — «Демьянова уха», «Тришкин кафтан»...

Басня Крылова всегда проникнута самой острой злободневностью. Современники говорили, что басни его, чаще всего, писались «по какому-нибудь поводу или случаю». Гоголь замечал: «Поэт... следил всякое событие внутри государства: на все подавал свой голос... Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означает, в чем его истинное существо» (Выбранные места из переписки с друзьями).

Так, реальный случай лег в основу сюжета басни «Рыбья пляска» (1824). Александр I во время одного из предпринятых им путешествий по России, взглянув в окно, увидел толпу людей, приближающихся к губернаторскому дому, в котором он остановился. Царь нетерпеливо, с минуты на минуту ждавший отъезда, спросил, что это за люди. Не растерявшийся губернатор ответил, что это жители хотят поблагодарить его величество за благосостояние края. Царь отказался принять их, а губернатор за «хорошую весть» был награжден. Жители же шли жаловаться царю на губернатора.

Как же представлен этот эпизод у Крылова?

В басне «Рыбья пляска» Лев «пустился сам свои осматривать владенья» и увидел, как «Мужик, расклавши огонек, наудя рыб, изжарить их собрался»:

Бедняжки прыгали от жару кто как мог;
Всяк, видя близкий свой конец, метался.

На мужика разинув зев,

«Кто ты? что делаешь?» — спросил сердито Лев...

«О мудрый царь! — Мужик отвечивал, — оне

От радости, тебя увидев, пляшут...».

По-радищевски остро звучит мораль и в басне «Пестрые овцы»:

Какие ж у зверей пошли на это толки? —
Что Лев бы и хорош, да все злодеи волки.

Вот они, «насмешки вечные над львами, над орлами...», вот вскрывание язв общества, в котором «у сильного всегда бессильный виноват».

На праздновании 50-летия литературной деятельности Ивана Андреевича Крылова и его 70-летия, где собрался весь цвет русской литературы тогдашнего времени, Одоевский сказал: «Я принадлежу к тому поколению, которое училось читать по вашим басням, и до сих пор перечитывает их с новым, всегда свежим наслаждением. Мы еще были в колыбели, когда ваши творения уже сделались дорогою собственностью России и предметом удивления для иноземцев. От ранних лет мы привыкли не отделять вашего имени от имени нашей словесности. Существуют произведения знаменитые, но доступные лишь тому или другому возрасту, большей или меньшей степени образованности; немного таких, которые близки человеку во всех летах, во всех состояниях его жизни. Ваши стихи во всех концах нашей величественной родины лепечет младенец, повторяет муж, вспоминает старец; их произносит простолюдин как урок положительной мудрости, их изучает литератор как образцы остроумной поэзии, изящества и истины...».

Да, и литераторы, и читатели учатся у Крылова, в баснях которого — та мощь таланта, где «и в самом буйстве вдохновений — змеиной мудрости расчет». Та мощь и свобода таланта, которая была вобрана, трансформирована и усилена Пушкиным. Но — не поглощена. Белинский отметил по этому поводу в «Литературной хронике» 1838 года: «Сам Пушкин не полон без Крылова...».

Многочисленные тома популярнейших писателей того времени — А. Ф. Вельтмана и А. С. Шишкова, — знают теперь немногие. Небольшой томик из 200 басен Крылова — знают все. Недаром же Белинский в статье «Басни Крылова» прозорливо отмечал еще в 1836 году: «Да, народ знает и любит Крылова, так же как Крылов знает и любит народ».

Т. С. ШЕХАНОВА

ОБ ЭПИТЕТАХ Ф. ТЮТЧЕВА



оэзия XVIII века давала, как известно, великолепное «зрелище очам»:

в ней золото, серебро, лазурь, пурпур и багрянец переливаются и блестят в богатейшей гамме оттенков.

Исследователи творчества Ф. И. Тютчева не раз отмечали обилие красок в его стихах. Называя Державина «отцом русского колористического стиля», они видели в поэзии Тютчева продолжение традиций старых колористов.

Тютчев не отказывается от достижений поэтики Ломоносова и Державина, от их лексики, художественных приемов и образов. Ю. Тынянов, хотя и относит поэта к архаистам, к верным и близким ученикам Державина, видит у него и некоторые элементы романтического стиля.

Действительно, усваивая излюбленные державинские эпитеты, Тютчев вкладывает в них новый смысл, свойственный сознанию поэта-романтика. Появляется это новое, часто сугубо «тютчевское», благодаря тому, что «предметное значение слова у него как бы растворяется в своих дополнительных значениях и оттенках» (К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962). Так получилось, например, со столь характерным для Державина эпитетом *золотой*. Он часто встречается в поэзии Тютчева и в прямом, но, главным образом, в переносном смыслах.

Прямое значение слова *золотой* дает качественную характеристику предмета, указывает на действительно присущие ему свой-

ства. «Золотой» обозначает предмет, сделанный из золота или позолоченный. Мы имеем здесь дело даже не с эпитетом, а с простым определением — ведь объем определяемого понятия никак не расширяется: «И истекли сокровища златые...» (Уралия); «Светился купол золотой...» («Глядел я, стоя над Невой...»); «Вели мне кубок золотой...» (Певец) (цитируется по изданию: «Ф. И. Тютчев. Лирика». В 2-х томах. М., 1966).

Золотой как выразительное метафорическое прилагательное (то есть эпитет) дает цветовую или световую характеристику предмету. Здесь есть определенный перенос значения. Связь со свойствами золота как металла опосредована: «Цветет лимон и апельсин златой. Как жар горит...» («Ты знаешь край...»); «Солнце светит золотое...» («Тихо в озере струится...»); «Плывут златые облака» («Над виноградными холмами...»).

В подобных сочетаниях употребление этих эпитетов достаточно привычно. Но в поэзии Тютчева наиболее характерен эпитет *золотой*, не создающий зрительный образ, а способствующий выражению определенного образа-чувства. Причем предметный смысл слова почти совсем теряется, перенос значения усложняется; эмоциональная оценка ярка, своеобразна и довольно абстрактна. Это — эмоционально-метафорические эпитеты настроения, определяющие авторское восприятие явления:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

«Я помню время золотое...»

Любви признание золотое...
«Сей день, я помню, для меня...»

Свободой бредил золотою...
Н. Ф. Щербине

Еще у Ломоносова встречается выражение *златой век*, которое варьируется как «времена златые», «лета златые» и восходит к рассказу Вергилия в «Георгиках» о золотом веке — эпохе всеобщего благоденствия, например, «Златой мне усугублен век...»; «И каждый день златого веку...».

А в выражении: «Что здесь зимой весна златая» (Ода на приятие Елизаветы Петровны) осталась только эмоциональная оценка, субъективно-символическое определение.

В поэзии Державина преобладает непосредственное восприятие мира в его конкретно-чувственных формах. Для него характерно определение предмета с внешней, видимой стороны. Но есть у

него небольшая часть эпитетов эмоционально-метафорических: «тень золотая» (великой княжны), «золотая чернь», «вождь и бог златой», «песни Леля золотые». Примеры эти очень показательны, но типичным остается у Державина сочетание эмоционального эпитета *золотой* со словами определенного семантического круга: *век, время, год(ы), день(дни), час(ы)*.

В творчестве Тютчева эмоционально-метафорические эпитеты определяют своеобразие его «поэтического почерка». Они заключают в себе особый, собственно «тютчевский» смысл, необычайно богатый тончайшими оттенками значений.

Так, в стихотворении «Байрон» (Отрывок (из Цедлица)) перед странствующим бардом «мелькает замок, и поднесь обвеян // Волшебной былью, мглисто-золотую!..». Вид старинного замка вызывает образ далекого, ставшего сказочным, прекрасного «золотого» прошлого. В стихотворении, обращенном к Н. Ф. Щербине, поэт уподоблен эллинскому узнику, который

Под скифской вьюгой снеговою,
Свободой бредил золотую
И небом Греции своей.

(«золотая» свобода, то есть желанная, драгоценная, манящая и т. п.).

Вполне «по-тютчевски» звучит выражение «златой рассвет небесных чувств». Здесь эмоциональное определение вбирает значения: блаженный, прекрасный, радостный, сладостный, благостный и т. п. Эпитет *златой* у Тютчева — широкое и в то же время лаконичное определение чувства, содержащее самые тонкие оттенки переживания. Он служит выразительным средством, прежде всего для раскрытия темы любви как весны человеческой жизни со всем ее очарованием.

Золотыми красками отмечено и торжество красоты природы, прекрасной и в буйном расцвете своих сил весной и в период тихого увядания, умиротворения ее осенью. Солнечные лучи насыщают собой все окружающее: золотят нити дождя, брызги фонтана, плывущие по небу облака, морские волны.

Чрезвычайно характерен для Тютчева эпитет *светлый*. Если в стихах Ломоносова светлыми были только взор и голос, у Тютчева светлые: край, храм, любовь, весна, тень, мир и прочее. «Светлый» вбирает бесконечный ряд значений, может заключать в себе самый широкий диапазон всевозможных оттенков. Так, в следующих примерах объем определяемого понятия последовательно все расширяется, появляется новый добавочный смысл, подсвет.

«Светлая мечта» еще не воспринимается как индивидуальный новый образ в стихотворении «Нет моего к тебе пристрастья...».

Здесь интересно не само сочетание *светлая мечта*, а то, что на мечту можно набрести:

И ненароком, на лету,
Набрести на свежий дух синели
Или на светлую мечту.

«Светлый» означает прекрасный, чудесный, желанный, радостный, воздушный. В совокупности этих значений вырисовывается образ чувства, настроения, определяется состояние души в данный момент.

В примере: «Нигде не встретив мирной, светлой кущи!» (Байрон) в понятие — «светлой» включается еще и «спокойной», «тихой», «благодатной».

Часто не утрачивается первоначальный смысл слова (светлый — излучающий свет, светосный; освещенный, наполненный светом): «На золотом, на светлом Юге» («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...»). На перенос значения указывает соседний эмоциональный эпитет *золотой*. Юг «блаженный», «светлый» не только потому, что там много солнца, но с ним связано пережитое счастье.

Интересен тютчевский образ *светлой* весны:

Светла, блаженно-равнодушна
Как подобает божествам,
Весна

или в стихотворении «Итальянская весна»:

Благоуханна и светла
Уж с февраля весна в сады вошла...

Рядом со светлой весной является у Тютчева и светлая любовь — прекрасная, блаженная, радостная, благодатная, божественная:

Так мило-благодатна,
Воздушна и светла...
«В часы, когда бывает...»

«Светлым» называет поэт чешского патриота Гуса, сожженного на костре:

И светел он, что собственною кровью,
Христову кровь он отстоял для них.
Гус на костре

Здесь «светлый» означает «чистый, благородный, одухотворенный».

Оригинально, в сравнении с подлинником (где у Шекспира „a fine frenzy fooling“) употребление эпитета *светлый* как «вдохновенный, священный» в тютчевском вольном переводе:

Поэта око, в светлом исступлень,
Круговращаясь, блещет и скользит
На землю с неба...

«Любовники, безумцы и поэты...»

«Светлый» может раскрываться как «смиренный, кроткий, умиротворенный»: «...Ты, с светлыми вечно очами, Терпенье...» (Урания).

В несколько новом освещении оказывается образ ушедшего прекрасного: «Мир светлый праху твоему!» (29-ое января 1837) или

Душа моя — Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных...
«Душа моя — Элизиум теней...»

Светлая память о минувшем, дорогое воспоминание — вот настроение, создаваемое здесь эпитетом *светлый* — священный, незабвенный, неизменный, заветный.

Тютчев создавал удивительные своей емкостью метафоры, используя эмоциональные эпитеты:

Так по́рхай наша, други, младость
По светлым счастья цветам!..
Весна

Или:

Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувств роскошный, светлый пир!
Нам чудились нездешние созданья,
Но близок был нам этот дивный мир.
Дым

В контексте значение образов проясняется — «Роскошный, светлый пир» чувств наступает, когда герои входят в «волшебный лес»: «Не лес, а целый мир разнообразный // Исполненный видений и чудес».

И все-таки, в целом, нельзя дать отчетливого рисунка созданного образа. Он неуловим из-за бесчисленности тончайших оттенков, привносимых в него каждым из нас.

Иногда при вполне осязаемом сохранении основного значения присутствует и эмоционально-оценочный элемент: «Киприда светлая всплыла...» («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...»); «Уж звезды светлые взошли...» (Летний вечер).

Светила излучают свет в прямом смысле, но их появление вызывает и какие-то светлые чувства в душе поэта. *Лучезарно, светозарно* становится все вокруг. Это вполне «тютчевские» эпитеты: «Там светозарна дня явление...» (Урания); «Наставет ночь — и,

светозарный бог, Сияет он над усыпленной рощей!» («Ты зрел его в кругу большого света...»). «Светозарный» — светлый, но и чистый, дивный, божественно-прекрасный.

Близко по значению у Тютчева употребление эмоционального эпитета *чистый*:

В горнем выпреннем пределе
Звезды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами...
«Кончен пир, умолкли хоры...»

Интересно у Тютчева употребление в переносном значении эпитета *чистый*: «Поистине, как голубь чист и цел он духом был...» (Памяти В. А. Жуковского) («чистый» — то есть невинный, целомудренный, нравственно безупречный), Или:

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.
Лебедь

(«Чистый» лебедь — символ «чистой» красоты, спокойной созерцательности; символ ясности, светлости души).

В стихотворении, написанном на смерть Гёте, «На древе человечества высоко...», определение «чистый» чрезвычайно объемно:

Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!

При всей субъективности эпитета и сложности его употребления, можно предположить, что гений Гёте вырос на первозданной благодатной, истинно плодотворной почве, впитав ее лучшие соки. Но этим далеко еще не исчерпывается тютчевское определение, вмещающее множество смысловых оттенков.

Достаточно субъективен образ:

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.
«Не верь, не верь поэту, дева...»

Интересно, что здесь происходит частичная реализация метафоры — оживление первичных представлений. Это явление не

приветствовалось поэтикой начала XIX века, так как первичное значение в метафоре должно было совершенно поглощаться переносным.

По поводу «багряной руки» зари у Ломоносова Вяземский, как известно, заметил, что она напоминает руку прачки, стирающей в декабре белье в реке. Также скептически отнесся бы он, пожалуй, и к тютчевскому эпитету, содержащемуся в развернутой метафоре: «Чистая» рука поэта! — ведь тогда она может быть и грязной (в отличие от устоявшихся поэтических выражений — «чистого взора» или «чистой любви»).

Тютчев же нисколько не боится самой яркой, романтической и довольно отвлеченной образности: «любви признание золотое»; «минутное, но сладкое забвенье» (Друзья при посылке «Песни Радости» — из Шиллера); «сладкий ужас», с которым глядят замки рыцарей («Там, где горы, убегая...»); «Сладкий час успокоенья» (Святые горы); «сладкие досуги» (На камень жизни роковой).

Замечательно «Румяное, громкое восклицанье», с которым пробуждается возлюбленная поэта. Оно напоминает пушкинский образ: «младой и свежий поцелуй», который Пушкин отвоевал в острой полемике. «Румяный» у Тютчева соотносится часто с понятиями: светлый, свежий, молодой, юный, чудный, прелестный, радостный. Ср.: «Румяный, светлый хоровод» майских дней, толпящийся за идущей весной (Весенние воды). Здесь еще не утрачено совсем основное значение слова *алый* (по цвету) — алая утренняя заря. Явно присутствует оно в сочетании «Румяное утро героям вручит...» (Песнь скандинавских воинов). Но эмоционально-оценочное, субъективно-образное восприятие очевидно и здесь.

Итак, проследив употребление характерных для Тютчева эпитетов, можно получить представление об особенностях его образной системы. Они свидетельствуют о близости поэта романтическому направлению.

Метафоричность поэтических образов неузнаваемо преобразилась со времен поэтов-архаистов. Даже столь свойственные Тютчеву сложно-составные прилагательные *пышно-золотой*, *мгlisto-золотой*, *лазурно-золотой*, самый любимый державинский эпитет *золотой* неизменно наполняются собственно тютчевским, символическим смыслом.

И в огромной степени благодаря присутствию в стихотворении поэта того или иного эмоционально-метафорического эпитета (часто входящего в состав развернутой метафоры), мы можем поставить под ним, как делал это Л. Н. Толстой, отметку «Т», то есть «мысль и форма, свойственные одному Тютчеву»; «только Тютчев мог сказать то, что он сказал, и так сказать».

Е. А. ПОТАПОВА



Владимир Иванович Немирович-Данченко вспоминал, что при постановке комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Художественный театр подошел к пьесе «прежде всего со стороны фабулы». По-новому, оригинально звучали старые сцены. «На генеральной репетиции,— продолжает режиссер,— присутствовал профессор, известный знаток русской и иностранной литературы». Театровед и литературовед разошлись во мнениях об исполнении актером монологов Чацкого, по-разному понимали текст гениального произведения. В частности, спор возник в связи с чтением известного монолога Чацкого во втором действии (этот монолог — непосредственный ответ на упреки Фамусова — «Вот то-то все вы гордецы!» — на его рассказ о дяде Максиме Петровиче и, наконец, на

его проническое подзадоривание — «Вы, нынешние, — путка!»);

Чацки й. И точно, начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулася шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда — тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесьть как кружево плели.
Прямой был век покорности и страха,
Все под личиною усердия к царю.
Я не об дядюшке об вашем говорю;
Его не возмутим мы праха;
Но между тем кого охота заберет,
Хоть в раболепстве самом пылком,
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?
А сверстничек, а старичок
Иной, глядя на тот скачок
И разрушаясь в ветхой коже,
Чай приговаривал: ах, если бы мне тоже!
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде;
Недаром жалуют их скупо государи.

Из-за чего же возник спор? «По замыслу Художественного театра, во время знаменитого рассказа Фамусова о Максиме Петровиче по лицу Чацкого все время скользит улыбка и острый, добродушно-насмешливый, почти веселый взгляд... Для него рассказ о Максиме Петровиче — забавный, хотя и очень типичный анекдот. Но разумеется, в этом анекдоте есть и такие черты, которые возмущают свобододолюбивый ум. И потому весь монолог состоит из ярких переливов непринужденного смеха и острых, язвительных колкостей.

Профессор не принял такого объяснения...».

Мы не знаем, какие аргументы в обоснование своей точки зрения приводил он. А знать их важно, чтобы решить, кто прав в споре. Как же следует исполнять, читать монолог: добродушно, с улыбкой, с «переливами непринужденного смеха» — или же с гневом, пафосом, сарказмом?

В подобных случаях единственно надежным средством решения вопроса может служить обращение к тексту, анализ его содержания и стиля.

Имея в виду содержание монолога Чацкого, можно заметить, что предшествующий ему монолог Фамусова не столь безобиден, чтобы вызвать «добродушно-насмешливый, почти веселый» взгляд Чацкого, его снисходительное отношение. Ведь и сам Вл. Ив. Немирович-Данченко вынужден признать, что «в этом анекдоте есть и такие черты, которые возмущают свободолюбивый ум».

Выпады Чацкого против тех, кто мог «отважно жертвовать затылком», его замечание об «охотниках поподличать» и других вряд ли можно назвать просто «колкостями». Колкости можно увидеть в его первых монологах, как, например, в тех репликах первого действия, когда в разговоре с Софьей Чацкий «свиданьем оживлен и говорлив» —

А тётушка? всё девушкой, Минервой?
Всё фрейлиной Екатерины Первой?
Воспитанниц и мосек полон дом?.. и т. д.

Это именно «колкости», о чем говорит и сам герой — «Послушайте, уж ли слова мои все колки?». Не все, конечно, но многие, — мог бы ответить объективный критик.

В рассматриваемом же монологе не колкости, а сатира, едкая прония, сарказм. Показательна в этом отношении и реакция Фамусова: «он карбонари!», «опасный человек!», «Он вольность хочет проповедать», «Да он властей не признает!».

Здесь можно вспомнить и высказывания И. А. Гончарова, который в статье «Миллион терзаний» дал самый тонкий, глубокий и правильный анализ комедии Грибоедова. В частности, он писал о том, что Фамусов «чертит такой грубый и уродливый рисунок раболепства, что Чацкий не выдержал...», говорит о том, что «Чацкий гремит против века минувшего». Сарказм требует пафоса, важности, «значительности» исполнения.

Но не менее важно принять во внимание и «план выражения», стилистические черты текста. Ведь особенности формы, лексический состав предложений, их синтаксическая структура нередко весьма определенно указывают на манеру исполнения.

Самым существенным для любого исполнителя оказывается то, что комедия Грибоедова написана исключительно живым, разговорным языком. Это особенно хорошо понимали современники автора. Так, К. А. Полевой писал во вступительной статье ко второму изданию «Горя от ума» в 1839 году:

«Одним из величайших достоинств и одною из причин успеха „Горя от ума“ остается до сих пор язык комедии, совершенно раз-

говорный. Едва ли хоть в одном месте, в одном стихе запнетесь вы в ней за книжное выражение... Грибоедов является оригинальным, самобытным писателем, который слушался только своего вдохновения и своего верного поэтического чувства. Он видел, что для комедии необходим язык разговорный, а иначе в ней не будет ни естественности, ни легкости выражения, ни даже тех средств, какие нашел он, сбросив оковы округленных периодов и книжных слов. Никто не подозревал, что в произведение словесности можно допустить сокращения слов, умолчания, неправильные обороты, необходимые в языке разговорном. Грибоедов решился на то, и, может быть, в первый раз явились у нас *печатно* такие слова, как: *покудова, кроме, вишь, подалей...*

И в рассматриваемом монологе легко увидеть разговорные элементы: «кого охота заберет», «чай, приговаривал», «охотники поподличать» и др. Но кроме них в тексте значителен слой книжных, в особенности книжно-риторических форм. Обратите внимание на такие языковые черты: «как тот и славился, чья чаще гнулась шея», «кому нудя: тем спесь, лежи они в пыли», «лесть, как кружево плели», «век покорности и страха», «под личиною», «усердие», «возмутить прах», «раболепство», «жертвовать», «смех страшит», [смех] «держит стыд в узде» и др.

Конечно, книжно-риторические формы требуют «значительности» исполнения. Но все же вопрос нельзя считать окончательно решенным без выяснения общей стилистической роли книжных форм речи. Насколько они вообще характерны для Чацкого? Как часто встречаются? В каких случаях? Какова их функциональная значимость?

В общем, разговорные реплики Чацкого вдруг иногда резко меняются, приобретая книжный характер. В монологе, который начат словами: «А судьи кто?» находим: «К свободной жизни их вражда непримирима», «черпать сужденья», «соорудя палаты... разливаются в пирах и мотовстве», «подлейшие черты прошедшего житья», «от матерей, отцов отторженные дети», «погрузиться умом», «ценители и судьи», «враг исканий», «вперить ум в науки», «алчущий познаний», «возбудить жар», «нищета рассудка» и другие.

Кроме того, заметим, что нигде в комедии нет больше такого скопления риторических форм:

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли (...)?

Не тот ли, вы к кому (...)?

Или вон тот еще? который для затей (...)?!

Вот те, которые дожили до седины!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и судьи!

Общий характер указаний (ибо перечисляемые лица реально отсутствуют) дополняется риторическими вопросами и восклицаниями, рядом специальных приемов (анафора, перифраз, антитеза и др.). Эти же формы доминируют в заключительных монологах Чацкого (то есть в конце третьего и в конце четвертого действия): «воссылать желанья», «истребить дух Пустого, рабского, слепого подражанья», «заронить искру», «воскреснуть от чужевластья мод», «вселить участие»; (4-е действие) — «искал награду всех трудов», «расточитель нежных слов», «завлечь надеждой», «обратить в смех прошедшее», «охладить движение сердца», «И на весь мир излить всю желчь и всю досаду», «толпа мучителей», «в вражде неутомимых», «Где оскорбленному есть чувству уголок» и другие.

Внимательно разбирая особенности языка комедии, можно прийти к такому выводу: книжные или книжно-риторические формы появляются именно там, где сильна гражданская тема, где значителен социальный смысл. Это особенно отчетливо видно в знаменитых монологах Чацкого. В них легкая ирония сменяется сарказмом и высоким гражданским пафосом.

Если же стремиться к научной точности, то необходимо добавить, что наряду с книжно-риторическими формами в монологах Чацкого можно увидеть и, так сказать, книжно-поэтические. Это заметно там, где Чацкий говорит о своей любви к Софье. По стилю эти строки приближаются к лирическому стихотворению;

Но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та,
Чтоб кроме вас ему мир целый
Казался прах и суета?
Чтоб сердца каждого биенье
Любовью ускорялось к вам?
Чтоб мыслям были всем и всем его делам
Душою — вы, вам угожденье?...

Обоснованием же особого исполнения монологов, насыщенных глубоким общественным содержанием, может служить и то, что в них Чацкий открыто становится «рупором» автора, выразителем его взглядов («Чацкий — это порт-пароль Грибоедова», — заметил А. В. Луначарский).

Чацкого нельзя трактовать просто как молодого человека, умного, живого, влюбленного; важно все время помнить, что это ли-

тературный герой, персонаж, выполняющий определенные задачи, реализующий авторский замысел. Выразительное богатство интонаций задано самим текстом, в композиции которого происходит постоянная смена констатации, восклицания, обобщающего утверждения и вопроса.

Вл. Ив. Немирович-Данченко, работая над созданием образа Чацкого, боялся перегрузить его риторичностью, пафосом. Режиссер стремился к простоте и естественности живой речи. Но едва ли правильно так противопоставлять простоту и пафос.

Удивительно точен был А. Шварц (исполнитель и теоретик), когда писал в своей замечательной книге «В лаборатории чтеца»:

«Пафос, который обычно противопоставляют простоте, действительно может производить фальшивое впечатление в тех случаях, когда он внутренне не мотивирован, натянут, искусственен, то есть не возникает из смысловых и эмоциональных предпосылок литературного произведения и его исполнения чтецом. Но патетика, правильно и полностью мотивированная (т. е. прочувствованная автором и исполнителем), производит впечатление абсолютной простоты». Такова патетика в комедии Грибоедова. Читатель и слушатель, действительно, нигде не споткнется о книжные, риторические формы. Правильно определить роль и значение патетики, риторики, найти способы ее подачи — таковы, по моему, задачи режиссера, постановщика комедии. «Горе от ума» не бытовая драма, она сильна именно общественным содержанием.

В. В. ОДИНЦОВ

Рисунок С. Гавриловой



«Из-под таинственной,
холодной полумаски...»
М. Ю. Лермонтова

Из-под таинственной, холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки,
И улыбались лукавые уста.

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну!...

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою:
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

И все мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой

встречи

Мы вновь увидимся, как старые друзья.



Светский маскарад в поэзии Лермонтова — это обычно мир неволи, мертвенности и лжи. Но здесь поэту под «таинственной, холодной полумаской» открылось иное — живая душа. Полумаска отделяет внутреннее от внешнего, живое от безжизненного, тайну от видимого, непостижимое от понятного, значительное от мелкого, прекрасное от обычного.

Уже в первых образах стихотворения намечена тема несоответствия внешнего облика человека прекрасному и сокровенному в нем. Взор поэта проникает сквозь полумаску и замечает прекрас-

ный облик, внешние черты намекают на красоту души. Под влиянием мимолетной встречи с неизвестной красавицей в воображении поэта рождается «бесплотное виденье» — олицетворение любви и гармонии.

Лермонтовский идеал всегда связан с тремя непреходящими ценностями: свободой, полнотой жизни и гармонией. Образ красавицы в стихотворении полон жизни: глазки светят, уста улыбаются, голос звучит. Живая душа героини не вмещается в рамки светских правил, и весь ее облик говорит о внутренней свободе: что-то неожиданное таит лукавая улыбка, даже локон лежит своевольно. Наконец, в ней чувствуется возможность взаимопонимания. Красота пробуждает веру в истинно человеческие отношения, основанные на любви и доверии! Спадает груз одиночества, рождается гармония душ, единение людей — для Лермонтова это самая великая ценность.

С этим чувством связано особое ощущение времени. Стихотворение начинается как воспоминание о прошлом, когда голос звучал, глазки светили, уста улыбались. И это длилось долго, не мгновенье. Глаголы второй строфы говорят о сокращении времени, и их всего два вместо трех, поэтому каждое действие оказывается «выделенным», поданным «крупным планом». В третьей строфе глагол *создал* говорит о прошлом, а затем речь идет о настоящем, в котором продолжает существовать прошлое: «И с той поры бесплотное виденье *Ношу* в душе моей, *ласкаю и люблю* // И все мне кажется: живые эти речи // *В года минувшие* слышал когда-то я...». (Курсив мой.— Р. А.) Настоящее и прошедшее слились воедино. И возрождение прошлого, как всегда у Лермонтова, рождает мысль о будущем: «кто-то шепчет, что после этой встречи // Мы вновь увидимся». Так происходит слияние прошедшего, настоящего и будущего, время останавливается, миг вмещает в себя вечность. Одно мгновение становится необычайно значительным: в нем живёт и прошлое и будущее. Именно о таком мгновенье можно сказать: «остановись, ты прекрасно». Поэзия Лермонтова художественно зафиксировала такой момент творческого подъема, ощущения счастья, полноты жизни. И не случайно он связан для поэта с видением красоты, которая стимулирует творческие силы личности и рождает прекрасную мечту о любви-гармонии.

Идея стихотворения проявляется и через изменение отношений субъекта и объекта. В первой строфе портрет красавицы не столько изобразительный, сколько выразительный, передающий впечатление от облика женщины. Об этом говорят эмоциональные эпитеты: *оградный, пленительные, лукавые*, сравнение голоса с мечтой, глагол *светили*. Все в красавице обращено к герою: голос звучит и глаза улыбаются не всем, а только ему. Поэтому возникает от-

ветное движение: герой активно устремлен к ней и открывает в ее облике еще больше черт, свидетельствующих о родстве душ. Но затем происходит замена: в воображении поэта возникает видение, заместившее реальную женщину в полумаске. Это уже целиком создание героя, сама идея любви-гармонии. «Живые речи» звучат в его душе, голос, который шепчет ему — это его внутренний голос, а «я» и героиня сливаются в одном «мы». Герой утратил свое одиночество, а видение обрело реальность. Но не ту, какая была свойственна женщине в полумаске, чьи конкретные черты лишь намекали на возможность идеального содержания, а иную реальность, не нуждающуюся в материальном проявлении. Поэтому изменился характер поэтического пространства: вместо разделенных образов героя и героини, находящихся в разных точках, сначала создается мир в душе героя, а затем возникает совершенно особая реальность, в которой соединяется внутреннее и внешнее, объект и субъект. В такой особый миг полноты жизни красота становится не объектом созерцания, а живым чувством творящей личности. Рушатся преграды, разобщающие людей, возникает прямое единение душ.

Поскольку мысль стихотворения — проявление идеала в обычном, бесконечного в конечном, гармонии в несовершенном и раздробленном — постольку и весь образный строй стихотворения основан на том, что обыденными, стертыми словами выражается глубокое чувство и высокая мысль. *Голос отрадный, как мечта; пленительные глазки, лукавые уста* — образы настолько невыразительные, «общие места» поэзии, что, кажется, ими вообще нельзя сказать ничего значительного. Но уже в первой строфе, где эти слова наиболее многочисленны, сквозь них пробивается прекрасное и гармоничное начало. Носителем его становятся ритм, интонация, звукопись, заставляющие слова складываться в дивную мелодию.

Этому способствует высокая степень фонетической упорядоченности. Так, через всю первую строфу проходит сочетание безударного У и ударного А. Все рифмы строфы инструментованы на А: *полумаски — глазки, мечта — уста*. Согласные также аллитерированы. Отсюда мелодичность, легкость, изящество.

Поэтичность речи создается и средствами синтаксиса. Многочисленные инверсии (звучал голос, голос твой, светили глазки, улыбалися уста), повторы и параллелизмы (звучал мне — светили мне, пленительные глазки — лукавые уста, звучал голос — светили глазки — улыбалися уста) создают такую стройность, завершенность, что становится возможным слухом и взором постичь красоту и гармонию.

В двух первых строфах явственно слышится ритм вальса. Первый стих создает этот ритмический рисунок тем, что здесь отсут-

ствуют главные члены предложения, нет слов, несущих основное фразовое ударение, и интонация движется тремя восходящими волнами от определений к определяемому слову *полумаски*. Во второй строке такой же плавный трехступенчатый спуск. Вальсовое кружение продолжается и дальше в прихотливом и изящном интонационном рисунке стиха.

Две строки пятистопного ямба (8 и 11) чуть приостанавливают движение. И после этого ритм меняется. Тот же шестистопный ямб звучит теперь иначе: цезура, незаметная в первых строках, теперь делит стих на равные половины, и он становится симметричным, устойчивым. Как будто исчезло все окружающее — кружение масок, музыка — и возникло ощущение света и гармонии.

И синтаксис поддерживает это чувство. Главные части предложений («и все мне кажется» — «и кто-то шепчет мне») одинаково расположены в предложении и в стихе, метрически равны, почти синонимичны по смыслу. Вторые же части предложений, построенные различно, говорящие одно о прошлом, другое — о будущем, содержат одну мысль о гармонии, единении людей. Такое построение помогает увидеть различие в похожем и единство в несходном, создать впечатление устойчивого равновесия, гармонии в движении. А ведь это и есть мысль последней строфы.

Так, идея стихотворения передается не только словом, но и звучанием стиха, его интонацией.

Отвергая и переосмысливая трафаретные слова, которые связаны с сознанием лживой светской толпы, поэт противопоставляет им слово, рожденное живым чувством. Под влиянием такого слова даже опустошенная светским маскарадом душа сбрасывает маску равнодушия и происходит самое удивительное чудо в жизни — чудо взаимопонимания людей, пустая жизнь наполняется смыслом, озаряется любовью, рождается чувство счастья, полноты жизни. Такое угадывание, предчувствие прекрасного и составляет сокровенный смысл лирики Лермонтова.

Р. И. АЛБЕТКОВА

Рисунок С. Гавриловой



«Царскосельская статуя» А. Ахматовой

Для многих русских поэтов творчество А. С. Пушкина явилось той благодатной почвой, на которой развилась их собственная поэзия. Продолжательницей пушкинских традиций была и русская советская поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Юность ее прошла в „Царском Селе“ (ныне город Пушкин), где все пропитано очарованием лирики великого поэта, которая естественно нашла отражение в стихах Ахматовой. Она писала:

Здесь столько лир навешено на ветки,
Но и моей как будто место есть.

Академик В. М. Жирмунский писал: «Влияние Пушкина на Ахматову сказалось наиболее отчетливо в „Белой стае“, лучшим и наиболее полным из ее сборников дореволюционного времени. Оно проявилось в стремлении подняться над мелочностью индивидуально-случайных переживаний, над суетой мгновенного и повседневного... в художественном обобщении индивидуально пережитого, доведенном до типической значимости» (В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973, с. 79).

У Ахматовой есть стихотворение „Царскосельская статуя“

Уже кленовые листья
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины.

И ослепительно стройна,
Поджав озябнувшие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспелой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.



В нем рассказывается о бронзовой статуе „Молочница“ (работы П. П. Соколова), поставленной в 1810 году в Екатерининском парке неподалеку от Липя.

На диком сером граните у прозрачного родника сидела бронзовая девушка, поджав ноги, с бессильно опущенной рукой, держащей черепок от разбитого кувшина. Низко склонилась голова с изящным, античным профилем, непослушная прядка волос упала на шею, слегка спустилась туника, обнажив плечо. Статуя в стиле классицизма соответствовала оформлению парка Царского Села с его геометрическим планом „старого сада“, узорными партерами и стриженными баскетами. Пушкин-лицеист часто приходил к этой статуе и в 1830 году посвятил ей стихотворение.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.

Дева печально сидит, праздный держа черепок.

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой.

Дева над вечной струей вечно печально сидит.

Стихотворение написано в классическом стиле, на камне сидит не „прозаическая“ молочница, а „поэтическая“ дева, разбила она не кувшин, а урну. Здесь все соответствует требованиям высокого стиля. Этот образ девы с разбитой урной близок к образу музы-нимфы источника. В мифологии догомеровской Греции музы обитали вблизи источников. В современном русском языке муза либо одна из девяти богинь-покровительниц искусств, либо (в переносном значении этого слова) — источник поэтического вдохнове-

ния, а также самое вдохновение и творчество. Именно в таком значении этот образ употреблен в поэзии Пушкина. Любопытна трансформация, которую претерпевает образ музы как олицетворение поэтического творчества на пути Пушкина к реализму. В восьмой главе „Евгения Онегина“ образ музы связывается с царскосельским парком:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сивявших в тишине,
Являться Муза стала мне.

Или:

Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны...

Муза у Пушкина — это иногда и образ, несущий в себе реалистические, либо романтические черты женщины или девушки. Для характеристики ее поэт берет не только «высокие», но и «низкие» слова.

В той же восьмой главе „Евгения Онегина“ муза — подруга поэта на пирах. Он привел ее к друзьям, «резвая» и «ветренная», она

И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась...

Муза сопровождала поэта на Кавказ:

Она Ленорой при луне
Со мной скакала на коне.

Она принимала облик то девы-гуземки, то «барышни уездной». В стихотворении 1821 года «Муза» это «дева тайная»:

... Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала...

Имеется и образ дремлющей музы:

Беру перо, сижу, сильно вырывая
У музы дремлющей несвязные слова.

Это представляет собою перифраз: мой мозг дремлет.

В поэзии у Ахматовой много раз встречается образ музы. Современный поэт и литературовед Лев Озеров пишет, что образ музыки у Ахматовой менялся: «Первая музыка» (1911) — «сестра», отнявшая «весенний подарок» — «золотое кольцо», вторая — «гостья с дудочкой в руке», третья — «обуза», «лихорадка» (в кн. Л. Озеров. Мастерство и волшебство. М., 1976, с. 251).

Мы встречаем образ Музы, пришедшей поэтессе от Пушкина (через поэзию Некрасова).

И вот вошла, откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?». Отвечает: «Я».

Здесь Муза — свидетельница и летописец человеческих страданий с суровыми гражданскими чертами. Часто Ахматова наделяет свою музыку простыми человеческими чертами:

Муза ушла по дороге,
Осенней узкой крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Или:

И Муза в дырявом платке
Протяжно поет и уныло...

Муза у Ахматовой не «гостья с дудочкой в руке». Она

Услаждала бредами
Пением могил,
Наделяла бедами
Свыше всяких сил...

В «Тайнах ремесла» поэтесса пишет:

Как и жить мне с этой обузой?
А еще называют музыю,
Говорят: «Ты с ней на лугу»,
Говорят: «Божественный лепет»
Жестче, чем лихорадка оттрепет,
И опять весь год ни гу-гу...

Поэтесса использует разговорную речь, избегает создающих приподнятость метафор.

В стихотворении «Царскосельская статуя» Ахматова продолжает пушкинскую традицию изображения музыки как реальной женщины. Так, употребляя выражение «поджав озябнувшие ноги», где причастие *озябнувшие* происходит от глагола *озябнуть*, имею-

щее просторечный характер, поэтесса наделяет свою музу земными чертами. Инверсия, как художественный прием, способствует созданию яркой выразительности, эмоциональной насыщенности стихотворения. Оксюморонное сочетание: «Смотри, ей весело грустить, Такой нарядно обнаженной» сжато и предельно точно определяет образ. Существование воспетой Пушкиным статуи вызывает зависть и ревность поэтессы:

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...

НЕОЛОГИЗМЫ

Абсолютное большинство экспрессивных неологизмов нашей художественной прозы создано и формируется по правилам словообразования в русском языке.

Прежде всего это такие виды морфологических образований: как суффиксация, например, *дакальщики* у Лескова; все разновидности словосложения (*сладостно-отчаянный* у Бунина); образования префиксальные (*обхрюкать* у Нагибина); префиксально-суффиксальные (*померсикать* у Лескова) и безаффиксные: «...талая вода с сосулук все кап да кап, а в каждом таком *капе* солнечный свет падает с крыши» (Паустовский. Беспкойная юность).

Часто встречаются в прозе такие лексико-семантические образования, когда нарицательные существительные употребляются в значении собственных имен: *Коробочка* и *Петух* в «Мертвых душах» Гоголя, *Курочка* и *Деепричистие* в его же рассказе «Иван

Федорович Шпонька и его те-тушка» и другие.

Наблюдаются образования морфолого-синтаксические, переход в разряд имен существительных прилагательных и причастий, реже других частей речи: *толстый* и *тонкий* в одноименном рассказе Чехова; «кричать, зажать голову, лицо руками, бежать прямо туда — в ужас, в *безглазое* и *поджидающее»* (Малышкин. Падение Дaira). Очень интересен пример субстантивации модального слова *кажется* у Достоевского: «...за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна — и, „*кажется*, доброго“, как замечает сама Дунечка. Это *кажется* всего великолепно! И эта же Дунечка за это же *кажется* замуж идет!..» (Преступление и наказание), «...что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким *у-у-у?*» (Бедные люди).

Малопродуктивны и образования лексико-синтаксические: «Пусть это *будто-паро-*

За прямыми по значению словами, точно называющими предметы и явления, в стихотворении угадываются ряды глубоких по значению образов. Эта поэтическая многозначность тоже идет от Пушкина, который начал в своей поэзии изображать частные явления в контексте общих законов жизни. Примером этого является исполненное философских раздумий стихотворение «Урну с водой уронив...».

А. И. КУЗЬМИН

Рисунок С. Гавриловой

художественной прозы

ход. Мальчуган садится на свой пароход, отправляется в *будто-путешествие* (Пришвин. Кашеева цепь).

Кроме неологизмов, уклады- вающихся в рамки свойствен- ных языку способов словооб- разования, в художественной прозе наблюдаются и оккази- онализмы (слова, не соответ- ствующие общепринятому употреблению, характеризую- щиеся индивидуальным вку- сом, обусловленные специфич- еским контекстом употребле- ния). Они выполняют в худо- жественной речи совершенно специфическое экспрессивное задание. Это то словотворчест- во, которое, по выражению Г. О. Винокура, «приводит к появлению небывалых для данного языка звуковых соче- таний» (Г. О. Винокур. Мая- ковский — новатор языка. М., 1943) и в области стихо- сложения обычно называется «заумным языком».

Материал, которым мы рас- полагаем в этой области, позво- ляет установить несколько

приемов создания таких худо- жественных окказионализмов.

Чаше других встречаются *слова-перевертыши*, возникаю- щие в результате обратного прочитывания слова. В расска- зе Чехова «Либеральный душ- ка» упоминается «Ее превосхо- дительство немка, урожденная баронесса фон Риткарт», а в «Скучной истории», написан- ной через несколько лет, автор объясняет происхождение этой фамилии: «Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова „трактир“ выходит „риткарт“. Это годи- лось бы для баронской фами- лии: баронесса Риткарт». Этим же способом осуществляется «облагораживание» фамилии актера в «Швамбрании» Кас- сия: «Фамилии актеров сра- зу прельстили нас поистине швамбранским изяществом: Энритон, Полонич, Вокар... Правда, выяснилось, что неко- торые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так, в паспорте Вокар значился Раков».

Таким образом создаются прежде всего имена собственные. Объясняется это, вероятно, тем, что они лишены смысловой сути и не нуждаются в мотивированности новообразований производящими словами.

Для индивидуального наименования в художественном контексте в принципе может быть использовано любое сочетание звуков. Есть и другие приемы создания имен собственных, не мотивированных производящими основами, что в литературе наблюдается реже, например, Кассиль в «Швабрании» так объясняет возникновение названия выдуманной детьми страны: «Любимой книгой нашей была в то время „Греческие мифы“ Шваба. Мы решили назвать свою страну „Швабранией“. Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву „м“, и страна наша стала называться „Швабрания“» — искусственной вставкой звука устраняется случайно возникшая и нежелательная создателям его производящая основа.

Возможно и, наоборот, отсечение звука или слога, служащее, как и при способе обратного прочтения слова, для «облагораживания» фамилий: «Анна спросила Циклопа, почему у борцов такие красивые фамилии. „Так ведь мы сами себе фамилии выбираем. Ясно, каждый старается получше выбрать. Моя фамилия, к примеру, Пищик. Разве выйдешь с такой фамилией на ковер? Да тебя сразу освищут. Или вот у Степана Алексеевича фамилия Разинский, длинно и невнятно, иное дело — Степан Разинс“» (Нагибин. Далеко от войны).

Некоторое распространение в художественной прозе имеют случаи «усечения» начальной части слова. Так, в результате своеобразного произношения возникает слово *улиган* (и производное от него *Улигания*) в «Республике Шкид» Пантелеева и Белых: «Попад в Россию, слово „хулиган“ видоизменилось в „хулигана“. А в Шкиде рыжая немка Эланлюм, обозлившись на бузил-старшеклассников, кричала, по немецкой привычке проглатывая букву „х“: „Улиганы!“ И стало в Шкиде прозвище „улиган“ таким же местным и таким же почетным, как и „бузовик“. Племя улиган росло и пирилось и в конце концов превратилось в государство Улиганию» (далее речь идет и о столице этого «государства» — *Улигаништадте*).

Леонов в «Русском лесе» от фамилии Андрейчик последовательно образует Ейчик и просто Чик: «...обособленно сидели вертодоксы Грацианского, среди которых особо выделялась своим решительным видом ведущая триада его группы: товарищи Андрейчик, Ейчик и просто Чик».

Итак, создание новых слов без привлечения традиционных в языке словообразовательных ресурсов характерно прежде всего для имен собственных, не нуждающихся в семантической мотивированности производящими словами. Это изображение подтверждается и тем, что нарицательные слова, образованные подобными приемами, как правило, обозначают что-то бессмысленное или непонятное. Так, бессмыслицей оказывается и ошибочно по правилам латинской графики прочитанное слово *чепуха* в пьесе

Чехова «Три сестры»: «В какой-то семинарии учитель написал на сочинении „чепуха“, а ученик прочел „реникса“ — думал, что по-латыни написано».

Можно указать еще на один совершенно своеобразный случай образования неологизмов-перевертышей, описанный в повести Пришвина «Журавлиная родина»: «На дощечке было написано два пути, повыше была дорога в Голоперово, пониже непонятное мне: *оволарам в агород*, и неграмотный ямщик объяснил, что как раз эта нижняя надпись и означает дорогу в Маралово. Конечно, подумав, я и сам бы разгадал эту шараду, но случилось, вместе с окружившим меня народом подошел автор надписи маляр. Тут я сразу догадался, откуда явилось Маралово, и автор сам объяснил мне происхождение надписи „дорога в Маралово“ с обратными буквами: „оволарам в агород“, дорога шла влево, и маляру захотелось, чтобы, расположив буквы налево, указывать тем самым дорогу».

Образования типа *Риткарт*, *Швамбрания* и другие можно отнести к словам, созданным «без модели» (см.: Эр. Ханпира. Окказиональные элементы в современной речи.— «Стилистические исследования». М., 1972, с. 289), хотя и прослеживаются определенные способы конструирования лексических художественных окказионализмов (обратное чтение слов, вставка звуков и др.), но, конечно, они не соответствуют общезычковым словообразовательным моделям.

Думается, что и применительно к внемодалным неологизмам верна мысль Г. О. Винокура о том, что «нет такого

факта поэтического языка, какой факт не был бы известен и вне поэтического контекста, как явление языка вообще» (Г. О. Винокур. *Избранные работы по русскому языку*. М., 1959, с. 391). Словотворчество, рассматриваемое в статье, связано с разного рода игрой слов.

Так, идея словообразовательной схемы типа *Риткарт* восходит к словесной игре, известной в стихосложении уже в древности (в частности, в древней римской и китайской литературе) и называемой в литературоведении перевертнем, что нередко наблюдается и в русской поэзии (см.: А. Квятковский. *Поэтический словарь*. М., 1966; М. Л. Гаспаров. *Перевертень*.— «Краткая литературная энциклопедия». Т. 5. М., 1968). Зафиксирована эта игра и в прозе, например, Помяловским в «Очерках бурсы»: «Напиши: „Я иду с мечем судия“». Карась написал: „Читай теперь сзади наперед, от правой руки к левой“».

Идеи большинства остальных словообразовательных формул (вставка звуков и др.) следует искать в профессиональных жаргонах особых социальных групп, прибегавших к «деформации фонетико-морфологического облика общенародных слов с целью их маскировки» (В. Д. Бондалетов. *Фонетико - морфологический способ образования арготизмов*).

В художественной литературе разного рода неологизмы служат выражению идей произведения, придавая оригинальность и своеобразие авторскому стилю.

В. П. КОВАЛЕВ
Херсон

РУССКИЙ ЯЗЫК В ТВОРЧЕСТВЕ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА



Творчество Ювана Шесталова неразрывно связано с возникновением литературы народа манси, одного из народов Сибири, которые до Октября не имели своей письменности. Имя Шесталова заслуженно сопровождается такими определениями, как основатель, основоположник. Действительно, его творчество сыграло огромную роль в том, что мансийская литература занимает достойное место в созвездии многонациональных литератур народов Советского Союза. Автор пишет и на мансийском языке, и на русском, а иногда и сам переводит свои прозаические и поэтические произведения на русский язык, сохраняя при этом их национальную специфику и самобытность.

Книги Шесталова раскрывают перед читателем удивительный мир мансийского фольклора, где живут добрые и злые духи, звери и птицы, травы и деревья, наделенные человеческими чувствами и страстями. Но фольклорные мотивы — это чаще всего прием, который помогает художественному выражению сюжета произведения. Поэтому у Шесталова в ритм сегодняшней жизни врывается эхо давних былей; прекрасная богиня Миснэ обретает черты земной девушки, а поиск разгадки тайны «Золотой бабы» идет рука об руку с изысканиями геологической партии.

Опираясь на персонажи мансийского фольклора, писатель по-новому осмысляет их. Традиция мифологической образности помогает Шесталову глубже проникнуть в древнюю культуру и искусство народа Манси. Его размышления и рассуждения не декларативны, они облекаются в форму монолога, где голоса «автора» и «рассказчика» сливаются воедино, а читатель превращается в собеседника писателя.

Один из центральных образов фольклора манси — Сорни-най. Кто же (или что же) Сорни-най? Это имя приобретает символическое значение в произведениях Шесталова. Уже тот факт, что два произведения писателя включают его в свое название весьма показателен: «Тайна Сорни-най» (М., 1976) и «В краю Сорни-най» (М., 1976). Вот что пишет Шесталов: «Сорни — по-мансийски „золото“. Най — „героиня“. Сорни-най — „Золотая героиня“. Может, просто придумали легенду о прекрасной женщине? Не мечта ли это о красоте и добре? Но тогда почему манси веками так ревностно охраняли ее от постороннего взгляда?..». И дальше: «Сорни-най — так зовут огонь манси. Золотой богиней величают. Кому же поклонялись древние? „Золотой бабе“, запрятанной

в лесу, или золотому огню? А может, просто девушке, такой же золотоволосой, как та, что сидит у костра? Ее звали Светланой» (Тайна Сорни-най).

От этимологии слова Шесталов идет по пути разного обозначения понятия русскими словосочетаниями, сохраняющими основной признак Сорни-най: *Золотая богиня, Золотая героиня, Золотая баба*. Русский эквивалент мансийского «сорни» становится основным смысловым стержнем контекста. Признак «золото» обыгрывается в двух планах: он выступает в значении драгоценного металла, из которого была сделана древняя статуя, и в значении цвета (золотой огонь, золотоволосая девушка). Знаменательно, что имя девушки также ассоциируется с понятием, близким огню: Ее звали *Светланой*. Так отталкиваясь от смысла мансийского слова, Шесталов воскрешает мифологический образ, в котором воссоединяются понятия далекого прошлого и аналогия современности, в котором сочетается поэзия мансийского фольклора и поэтика художественных средств русского языка.

Стиль Шесталова неоднороден. Своеобразие заключается прежде всего в том, что Шесталов часто обращается к древним легендам, национальным метафорическим образам. Например: «Город со звездами на крышах, с острыми башнями, над которыми вьются разноцветные *пылающие платки дочерей Нер-ойки*». В сноске поясняется: «*Пылающие платки дочерей Нер-ойки* — северное сияние» (Югорская колыбель. М., 1972).

Иногда писатель в самом тексте прибегает к указанию источника отдельного выражения, почерпнутого из устного народного творчества манси. Например: «Мгновение — и по дереву бежит красная лисица. Так говорит мансийская загадка о чувале, в котором пляшет пламя» (Тайна Сорни-най); «— А, вернулся странник! Сколько вод, земель померил?» — заговорил он словами традиционного мансийского обращения к приезжему» (там же). Кроме указания источника употребление устного народного оборота может сопровождаться кавычками, ср.: «Посреди поляны „упиралась в небо лиственница“. Так говорят про высокое дерево в сказках» (Тайна Сорни-най). Аналогичное графическое оформление отмечается также при употреблении национальных словосочетаний, имеющих обобщенно-символическое значение. Например: «„Нехс нити“, — зовут манси гнездо соболя. „Нехс пити“, — называют манси свой дом, если в нем есть счастье, тепло» (Югорская колыбель). В приведенном контексте устанавливается двуязычный параллелизм обозначаемого, при котором мансийское словосочетание передается русским, в одном случае в прямом значении, в другом — в переносном.

Двуязычие в произведениях Ювана Шесталова является, пожалуй, одним из основных признаков его индивидуально-стиля. Тематически разнообразны слова мансийского и русского языка, имеющие одинаковую предметную отнесенность, параллельно употребляются независимо от сюжета произведения. Однако характер их использования, при-

емы введения связаны со стилем контекста. Вследствие этого одно и то же мансийское слово может по-разному обыгрываться в пределах отдельного произведения. Останемся на некоторых примерах из «Югорской колыбели», содержащих слово *хорей*: «Недостает людей. Одни болеют, другие показывают на белую голову: мол, и глаз не тот, и ноги не те, и *хорей* дрожит в руках». Приведенное в сноске толкование — *хорей* — шест, которым управляют оленями,— по существу не является собственно единицей художественного текста, так как оно вынесено за его пределы. А вот другой контекст: «Микуль берет *хорей* — шест, тонкий, сияющий, и мы садимся в нарту. Впереди Микуль, а я за него держусь. Рванулись олени от страстной пляски *хорей*, и мы помчались». Здесь уже двуязычный параллелизм наличествует в тексте (*хорей* — шест, тонкий, сияющий). Отсутствие указания на назначение предмета восполняется содержанием отрывка, из которого выясняется не только семантика слова, но и практическое его использование. При втором употреблении слово *хорей* сопровождается метафорическим сочетанием (от страстной пляски *хорей*), усиливающим экспрессию контекста. В третьем случае *хорей* входит в состав прямой речи персонажа: — «Ты бьешь оленей. *Хорей* не палка. Это язык оленевода. Оленевод подумает. Передаст мысли *хорей*. *Хорей* коснется оленя, и тот уже знает, что хочет человек. Олень все понимает...». Данный контекст содержит элементы художественной образности, при которой прямое значение слова *хорей* претерпевает изменение (ср.: *хорей* — не палка, *хорей* — шест). Эта образность идет от многовекового опыта, накопленного народом манси, и потому смысловое сопоставление *хорей* с языком оленевода воспринимается не только как деталь художественного изображения, но и как образ, подсказанный практикой жизни.

Юван Шесталов широко использует двуязычный параллелизм при употреблении топонимических и омонимических названий. Русская параллель может выступать как перевод мансийского наименования, причем обычно сопровождается комментарием автора, раскрывающим смысловую основу названия: «„Пори-посал“ — зовут эту протоку манси. А в переводе — „Вспять текущая река“. Странная река! То течет в одну сторону, то в другую. Когда в Оби большая вода, она течет к Сосьве, когда в Сосьве большая вода — течет обратно, в Обь» (Югорская колыбель). Иногда автор идет от русского наименования, но приводит мансийскую параллель, дает ее перевод уже не собственным именем, а словосочетанием, значение которого сближается с русским наименованием, ср.: «...*Березово*. По-мансийски *Халь-ус*. Это значит: березовый город, город в березах» (Югорская колыбель).

Смысловое содержание того или другого наименования, его этимологию писатель связывает с традициями и обычаями народа манси. Поэтому, как правило, такие контексты приобретают самостоятельную значимость в идейно-художественном плане. Например: «Речка называлась *Ялпын-я*. Ялпын — по-мансийски „священный“. Я — „речка“. *Священная речка*. Рыбу в ней почти не добывали. И леса в пей счи-

тались заповедными. Только в голодные годы люди отважились идти сюда на промысел» (Тайна Сорни-най); «*Солвал — Солёный Человек*. Так назвали моего отца потому, что он родился в год, когда был соляной голод» (В краю Сорни-най).

Интересные случаи двуязычного параллелизма представлены контекстами, в которых содержится тройное обозначение одного и того же объекта: одно из них представляет собой русское нарицательное имя, другое — собственное имя из мансийского языка, третье — точный перевод на русский язык мансийского наименования. Например: «Отец Сергея был лесным человеком. Он соблюдал законы и поверья тайги, как дед и прадед, и как все старые манси, считал *медведя* своим лесным собратом, потому и называл его просто — *Ворголу*т — «*В лесу живущий*». Он старался не вступать с ним в поединки и ненужные ссоры. Для него медведь был не зверь. Но он хорошо знал, что если обидеть медведя, то в нем проснется звериное...».

Как и в других примерах, семантико-этимологический параллелизм не обособляется от сюжетной линии произведения, не является неким дополнением национального колорита — напротив, двуязычные обозначения служат смысловыми центрами отдельных контекстов, своеобразными «точками опоры» повествования.

Иногда Шесталов употребляет русский перевод мансийского слова, обозначающего новое понятие. Обычно в контексте содержится также обозначение данного понятия (явления, реалии), свойственное русскому языку, и, таким образом, параллельное наименование осуществляется двумя способами: калькой, то есть буквальным переводом на русский язык, и лексической единицей русского языка. Калька с мансийского языка используется с кавычками и без кавычек, ср.: «Теперь все обыкновенны: и Наста, лечащая людей, и буровой мастер Урусов, нашедший в наших краях „огненную воду“ — нефть» (Югорская колыбель); «Из этой необыкновенной *крылатой лодки* (не потому ли манси и назвали *самолет* „*крылатой лодкой*“?) вышли люди» (В краю Сорни-най); «После приезда киномеханика зачастили в *клуб* и другие жители таежной деревушки: рыбаки, охотники (...) Вскоре в *красный чум* зачастили и старики» (Тайна Сорни-най). Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в основе мансийских обозначений лежат понятия, связанные с традиционным национальным бытом: лодка, чум и др. Значение понятия уточняется признаками, выраженными определениями «крылатый», «огненный» и т. д. Если в русском языке названия данных понятий воспринимаются в своем прямом значении, то сочетания-кальки с мансийского языка сохраняют элементы метафоры, переносного употребления.

В произведениях Ювана Шесталова очень интересны эпизоды, где писатель рассказывает о том, как новые понятия входили в жизнь манси, как вместе с понятием усваивалось слово из русского языка, что нередко было связано с ломкой старых обычаев. Например: «Родители, послушавшись шаманов, сговорились и увезли детей в тайгу, в тундру,

в свои кочевья. А шаманы, подогреваемые недобитыми белогвардейцами, распространяли вздорные слухи: «Неспорно русские построили *культбазы*. Вдумайтесь, люди, в это название. Слово „культ“ — по-мансийски „черт“, злой дух подземелья. „Чертовой грамоте“ научат детей северян, злая сила вселится в них» (В краю Сорни-най).

Через посредство русского языка в мансийский входили интернациональные общественно-политические термины. Писатель показывает, какой отклик находило в народе манси величайшее событие, знаменующее начало новой жизни, как манси старались постичь смысл неведомого доселе слова, исходя из традиционных национальных представлений:

«— Кто такой *Революца*? Если человек, то какие у него глаза, руки, голова? Головой он силен или руками? А есть ли у него сердце? Можно ли с ним договориться лесным людям? Цевит ли он мех соболей и беличий?»

— Кто такой *Революца*? Если он дух, то какой дух? Черный или белый дух? Злой или добрый дух? Какую жертву он попросит? Большую или маленькую? Жертву с кровью или без крови? Откликнется ли он на молитвы? А может, как многие духи, на жертвоприношении побывает, полакомится кровью и улетит, не оказав помощи страдающим?

— Кто такой *Революца*? Неужели и вправду этот дух — красный? Разве такой дух бывает? Никогда не было такого духа! В виденьях великих шаманов не видано, в сказках-былинах не слыхано! Откуда выплыл? Чего он хочет? Куда поведет людей? К добру или злу? Но тогда он был бы белым или черным! Нет! Это новый цвет! Непонятный для таежников цвет! Надо узнать его! Надо быть очень осторожным, чтобы не спугнуть. Не настроить бы его против таежных людей» (Югорская колыбель).

Применение «панизывания» вопросительных предложений сообщает контексту характер полифонии, в которой звучат многие и многие голоса. Вместе с тем эта полифония эмоций, отражающая различные чувства — страх, надежду, настороженность, сомнения. Данный контекст показателен для поэтики Шесталова в целом: писатель идет от слова к емкому и многогранному образу. Русский язык в его творчестве выступает во взаимодействии с элементами мансийского языка; понятия современной жизни переплетаются с понятиями древней культуры народа; мотивы национального фольклора получают новое звучание и наполняются новым смысловым и экспрессивным содержанием. Произведения Ювана Шесталова являются одним из ярких свидетельств развития и роста социалистической литературы, в которой «инструмент» художественного творчества — русский язык — выступает как средство межнационального общения.

Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ

Рисунок В. Толстоногова



НАРОДНОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

Имя М. Исаковского неотрывно от песни и ее судьбы. Понять его поэзию можно только вникнув в историческую судьбу того, что поет народ, какие слова ему по душе, какие он принимает в сердце, какие отвергает. Размышлять об Исаковском — размышлять о песенной лирике, ее особенностях, о путях-дорогах. Песня же, в том числе и та, что зовется народной, испытала — на длительном историческом пути — множество превращений, видоизменений, приключений и злоключений. Лирика Исаковского открывает нам увлекательную возможность осмыслить и познать песенность как

особое эстетическое свойство поэзии. Стихотворение, положенное на музыку, становясь песней, объединяющей поэтический и музыкальный образ, уходит в житейскую среду, становясь всеобщим, «ничейным», словно теряющим авторство. Все знают строки, но никто не помнит, кто их написал. Возникает протяженность во времени. Народ шлифует слова, подобно тому, как море сглаживает и обдирает гальку. Уходит все необязательное, случайное, временное.

Поэтика Исаковского — единый художественный сплав лиризма народной песни с современностью. Питаясь глубинными почвенными истоками, бесчисленными корнями связанная с землей, народом, поэзия Исаковского необычайно чутка ко всему новому в жизни, особенно к ее радостным, ясным, светящимся краскам.

Максим Горький в последние годы своей жизни не только призывал постигать народность, как эстетическую категорию, но и советовал, опираясь на фольклор, создавать новые произведения. В заключительном слове на I съезде писателей в 1934 году он говорил: «Мир очень хорошо и благодарно услышал бы голоса поэтов, если бы они вместе с музыкантами попробовали создавать песни — песни, которых не имеет мир, но которые он должен иметь... Старорусские, грузинские, украинские песни обладают бесконечным разнообразием музыкальности, и поэтам нашим следовало бы ознакомиться с такими сборниками песен, как, например, „Великоросс“ Шеина, как сборник Драгманова и Кулиша и другие этого типа. Я уверен, что такое знакомство послужило бы источником вдохновения для поэтов и музыкантов и что трудовой народ получил бы прекрасные новые песни — подарок, давно заслуженный им...».

Нет необходимости говорить, как близок и дорог был Исаковскому горьковский призыв. Исаковский, занимаясь обработкой народных песен, обратился к рекрутским, солдатским, свадебным, девичьим песням, а также к такому своеобразному виду фольклора, как стихотворный сюжетный народный рассказ. Последний был ему особенно близок, — поэт любил в стихах воспроизводить прямую речь стариков и старух, различных бывалых, знающих людей, выглядевших у него всегда привлекательно.

Исаковский одним из первых среди поэтов обратил внимание на красоту народных припевок, их содержательность, лиризм и юмористическую наполненность, сатирическую остроту. На частушечной основе поэт создал единственную в своем роде песню «Рекрутчина», мастерски использовав размеры припевок, их параллелизм, ритмический рисунок, краткость и меткость. Словно показывая всем тематическое разнообразие и емкость метрической формы частушек, Исаковский пишет, точнее, создает вариант «Песни

о несчастной любви». Ее, разумеется, лучше петь, но она — редкая по своей фонетической прозрачности, — великолепно звучит и при чтении вслух:

Сел в карету, скрылся барин молодой,
И осталася девчонка сиротой,
Да такой же разнесчастной сиротой —
Ни невестой, ни женою, ни вдовой.

«Песня о девушке» насыщена весельем, свойственным плясовым и шуточным жанрам. Самые простые ритмы звенят, как подкованные молодецкие сапоги в переплясе: «А дьячок не дьячит, — сам по девке плачет, а звонарь не звонит, — сам по девке стонет». Почин Исаковского не остался одиночным. Частушечный хорей, диалогичность припевов, их непринужденная импровизация, зависящая от автора-исполнителя, пленила в дальнейшем многих. К частушке постоянно обращался Твардовский и в «Стране Муравии» и в «Теркине». На частушечной основе выросли лирические диалоги Рыленкова. Богатство припевов Ладого, да и всего Русского Севера, рассыпано в стихах и поэмах Александра Прокофьева.

«Мне хотелось, — писал Исаковский, — сделать так, чтобы оставляя в неприкосновенности содержание песни, ее словарь, краски, несколько приблизить песню к современному стиху, чтобы читать ее (а не только петь) было легче, приятней». С этой задачей автор справился, доказав еще раз, что большая поэзия — самая различная по своим формам — рождается из души народной.

В «Четырех желаньях», написанных первоначально в конце 20-х, затем переписанных в 30-х годах, чувствуется влияние Некрасова (Песни убогого странника), но не прямое, а через Сурикова, Разоренова, Дрожжина, Василия Наседкина. Бывальщина-песня примечательна тем, что Исаковский, верный себе, стремился органично сплавить старое с только что родившимся, найти новое на испытанных традиционных путях. И это, пожалуй, ему удалось. Песенная стихия беспредельно царит в «Четырех желаньях», еще ждущих своего композитора, чтобы зазвучать мелодиями, заключенными в ней. В песенном сказе — множество находок, говорящих о том, как живо чувствовал Исаковский поэзию деревенской жизни:

Весной по лесам
зашумели зеленые веники,
Густые и сочные травы
сушили богатый покос.
Весной
из какой-то чудесной страны
принесли коробейники
Лиловые ленты для девичьих кос.

«Зелеными венниками» видит березу только крестьянский глаз, знающий, какое применение найдут шумящие на ветру ветки. Хороший травостой радует того, кто знает, как важен богатый покос в хозяйстве. Что касается коробейников, то они долго одаряли молодежь лентами — от некрасовских времен до дней молодого Исаковского.

«Четыре желанья» воочию показывают, как чувствовал поэт прославленное русское многоголосие, как органична для него была полифония народной жизни.

Своеобразная сторона творческого облика Исаковского — стихотворные пересказы того, что вспоминали, рассказывали бывалые люди. Отсюда — «Юбка (Рассказ колхозницы Маруси)», рассказ колхозного сторожа «География жизни», «Как вошла я в приемный зал... (случай на призывном пункте)», «Письмо Буденному», «В лесном поселке (письмо девушке)». Эти опыты тоже можно рассматривать, как своеобразные фольклорные вариации, ибо начало их в устном рассказе или в письме. Новизна и ценность их заключается не только в том, что художник запечатлел только то, мимо чего обычно проходят историки и повествователи. Кому интересно знать, какие чувства испытывала простая женщина, когда ей подарили за хорошую работу нарядную юбку... Надо быть совсем «своим человеком» в деревне, чтобы понять значение этого в общем-то мелкого случая. В рассказах-стихах есть и другое, социальное звучание. В старом фольклоре победа над злом обычно носила утопические формы. Исаковский попытался давний, как мир, мотив, связанный с деревенскими мечтами, ввести в бытовое русло.

«— Я любил слушать простые деревенские рассказы о разных случаях и событиях — и, слушая, записывал особо понравившиеся мне фразы и словечки», — вспоминал позднее Исаковский.

Рассказы охотно печатались, единодушно принимались критикой, но Исаковский — неустанный в творческих поисках — искал возможностей более сгущенно-точного высказывания того, чем жила страна, готовившаяся отразить возможное военное нападение.

Жизнь требовала патетического слова о любви к Родине. Но как найти его — страстно-взволнованное, всепроникающее, способное двигать горами? Стихотворение называлось «Земля» и открывалось проникновенным призывом: «Земля, земля — родная мать! Поговори с любимым сыном...». В «Земле» Исаковский нарисовал впечатляющую картину неразрывной связи человека с землей, его породившей.

Были художественные поиски и на иных путях. Исаковский обращается к таким основательно забытым к двадцатому веку жанрам, как ода и гимн.

Для миллионов людей слова — Москва и Кремль, — звучат, как символы, олицетворяющие огромную страну и ее государственность. Исаковский, всегда чуткий к современности, к тому, что думает народ, о чем он мечтает, создал торжественный напев:

Шумят плодородные степи, текут
многоводные реки.
Весенние зори сверкают над нашим
счастливым жильем...

Еще в одном жанре — колыбельной песни — Исаковский сделал многое. Колыбельная — первая песня, которая встречает человека на пороге жизни. Когда ребенок еще не умеет говорить и не понимает смысла слов, колыбельная чаще всего бывает для него песней без слов. В такт покачивания колыбели мать повторяет одно слово: «Бай, бай...». Но постепенно в колыбельной возникают слова — ребенок учится ходить, говорить, понимать и даже петь.

Русские поэты любили жанр колыбельной. Лермонтовская — «Спи, младенец мой прекрасный» — один из шедевров классической лирики.

Но никому в двадцатом столетии не удавалось написать такой проникновенной колыбельной, как Исаковскому. Он нашел слова, идущие из глубины материнского сердца:

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной.

Мать, напевая, мечтает о будущем сына, о том времени, когда он полетит «смелым орленком на ясные зори». Давая новое эстетическое бытие старому жанру, Исаковский ввел мотивы, которые раньше в колыбельной отсутствовали. У него мать поет не только о будущей счастливой доле, но и о том, что ее ребенку даст силу и укажет дорогу «Родина мудрой рукой...».

Размышляя о народном многоголосии, которое живет в стихах Исаковского, вспоминаешь мысли поэта-декабриста Александра Бестужева, размышлявшего о песне, как о вместилище народной души: «Русский поет за трудом и на досуге, в печали и в радости, а многие песни его отличаются свежестью чувств, сердечною теплотой, нежностью оборотов». Все указанные Бестужевым достоинства можно с полным основанием адресовать Исаковскому и его песням. Бестужев сетовал, что из русской песни с годами ушло возвышенное, — оно исчезло, как «звук разбитой лиры». Исаковский в наши дни, возобновив давнюю традицию, соединил лиризм с мужеством, с гражданственным пафосом.

ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ
Рисунок С. Гавриловой

Сравнение кого-либо или чего-либо с айсбергом, безусловно, не ново. Но когда говоришь о творчестве Александра Яшина (1913—1968), замечательного поэта и прозаика, то этот образ ледяной горы, пять шестых которой скрыто под водой, сам собой приходит на ум.

За прошедшие после смерти писателя годы вышло немало его книг, дающих представление и о размерах всего написанного им, и о все усложнявшемся внутреннем, духовном мире художника.

В архиве Александра Яковлевича Яшина помимо художественных произведений, законченных и незаконченных, есть записные книжки, которые писатель вел с начала 30-х годов. Из этих записей

уже составлено несколько книг дневниковой прозы, обособленных временем, темами и определенным духовным состоянием поэта. Последние 20 книжек относятся к 1958—1968 годам, то есть к последнему десятилетию жизни и творчества Александра Яшина, когда его проза и поэзия получают всё большее философское наполнение.

Предлагаемые вниманию читателей «Русской речи» выдержки из дневников Александра Яшина 1958—1968 годов представляют интерес для наблюдения за работой писателя над словом, над сюжетами, над жизненными впечатлениями, которые становятся страницами его книг.

Александр Яшин — с русского Севера. Он родил-

«В ЗЕМЛЕ КОРНИ, В ГЛУБИНЕ...»

Из дневников Александра Яшина
1958—1968 годов

Не надо бояться просто писать обо всем, что видишь, что происходит в деревне — просто писать, только писать, и все будет расчудесно. Я же ходил со Златой по Вологодской области не один месяц. Почему не написал путевых заметок, как Солоухин, как Дорош? А о курсах трактористов на Алтае: как я попал на них и учился инкогнито... Почему?

Конечно, в Блуднове — не лучшие места. Теперь вижу, а не признаюсь никогда. И все тянет не куда-нибудь — в Блудново. (...)

На свете есть много мест лучше Блуднова, и добираться туда легче. Но меня всегда, всю жизнь будет тянуть сюда. Здесь я знаю и чувствую, что особенно важно, душу каждого человека.

Пожить бы мне в стране у Берендея...

ся в деревне Блудново Вологодской области. Туда, к себе на родину, в места, где ему лучше всего работалось, где он находил неиссякаемый материал для творчества, писатель приезжал постоянно, поэтому дневниковые записи его, связанные с этими поездками, пестрят названиями деревень Вологодчины, ее рек, лесов, покосов, содержат много местных слов и выражений, которые так щедро использованы Яшиным в стихах и прозе.

Дневники Александра Яшина — это только первый этап его работы, хотя многие записи настолько поэтичны, глубоки и законченны, что имеют самостоятельное художественное значение.



А. Я. Яшин. 1963 год

Мужики! Хорошее слово, зачем мы от него пытались стыдливо отказаться.

Нельзя жить в России и не знать деревни. Поэтому я отвез своих детей на лето в Блудново.

Ровно в 12 поют петухи. Удивительно. Вы проверьте. Сiju еженощно, слушаю и ничего не могу понять. Поют.

Птицы разговаривают. Есть язык — это ясно, это точно.

Всю жизнь ходим по цветам, а как их назвать не знаем. Слушаем птиц, а какие они — не видели. Пеночку от серебристого чеканчика отличить не можем.

Первая лесная полянка, как присказка. Сказка впереди.

В лесу хорошо. А на опушку выйти — лучше. Ширь. Река. Провода, опоры-мачты, дорога вдаль. И вся опушка в цветах, — словно и они вышли сюда выглянуть, осмотреться. А какое небо, его больше, чем земли, — и тоже не пустое (...). И ветер. А что без ветра? — ветер меняет цвета на земле.

Трудно дереву умирать. В земле корни, в глубине.

Хотелось бы лося,
Да не удалось!

Хорошо у нас. Но если бы река еще. Без реки красота не та. Потому-то Юг-река ни одной деревни не обошла — извилины, излу-чины, весь район осветила, исколесила, украсила. Всех ошастливила — никого не обидела. (...)

Еще о Юг-реке. Течет светлая, чистая. Пройдут коровы, взму-тят воду. Дерево упадет... А она опять течет чистая, светлая. Ил — оседает, тина — прибивается к берегу. Так и с душой моей: чтобы в нее ни попало наносного — она опять чиста!

В моей рабочей комнате в Москве: серп, лопата, грабли, коса. Это не бутафория, не причуды. Это моя пуповина, зацепка за родную землю, связь с детством — я его провел с этими орудиями труда...

Солнечные дорожки по воде ложатся — для каждого своя, им увиденная, им открытая — где бы он ни находился.

Певчие птицы рано встают.

Чем бы человек ни занимался, каких бы высот он ни достиг, он должен писать, если хочет жить не только для себя, если хочет оставить память о себе. Без этого труд не дает никакого удов-летворения.

Талант — это и здоровье, и выносливость, без чего не может быть работоспособности.

Петухи поют в любую погоду: в хорошую к дождю, в плохую — к вёдру.

Вот и я побывал в раю, в волшебной сказке. В Белозерском лесном краю — светлом, разнотравном, многоозерном, многоцветном, разноликом, безлюдном!

Когда долго не работается, начинает казаться, что я незаконно живу на земле и виноват во всем и перед всеми, и, конечно, никакого покоя, никакого отдыха. День идет не в день, радость не в радость.

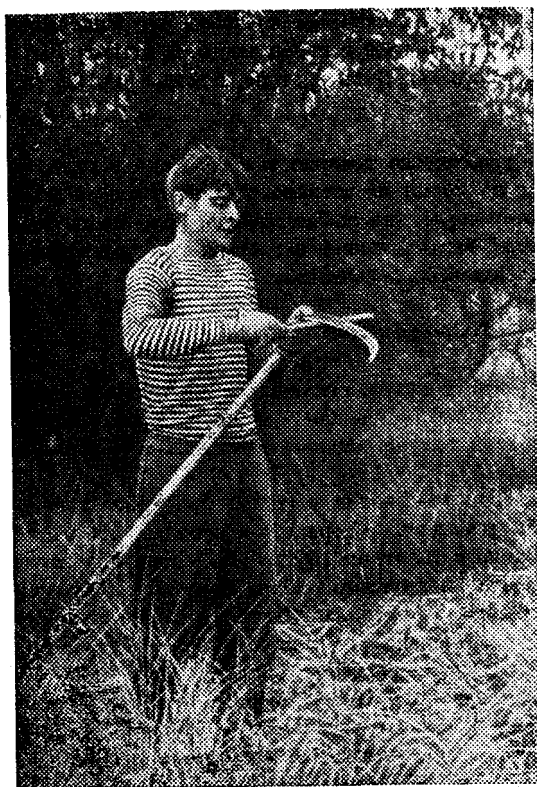
Чтобы писать — необходимо доверие к себе. Надо верить, что все волнующее тебя не может не взволновать и других, не может быть для них неинтересным, что любая мелочь, кажущаяся мелочью только на первый взгляд, может оказаться для других вовсе не мелочью. Надо верить себе, довериться...

Родные забытые слова

«Подь сквоззе» — это, конечно, искаженное «провались сквозь землю» (поди сквозь землю). «Спасибо» — спаси тебя бог. «Маховитый человек» — широкая натура. «Одного слоя люди» — одного поколения.

«Понёбы», «поднёбица» — [полка в жилой половине избы] — положить на понёбы рубашку. «Деревцо» — колода для лаптей. «Шировега» — [брусника с толокном]. «Дежень» — [творог с толокном]. «Туес» — [коробка из круглого околка бересты]. «Журавлиха», «жаровиха» — клюква. «Санапал» (Вишь санапал какой!) — Сарданапал. «Хлопуша» — враль, хвостун. «Починок» — [новая маленькая деревня]. «Лубня» — коробка, сундучок лубяной. «Лёпоть» — бельё. «Возилка» — неполный мешок. «Подъизбица» — [зимовка, маленькая изба]. «Сугрёвущка» — [родной, милый]. «Грудки» — свежий творог. «Рукотерник» — полотенце. «Поляш» — тетерев. «Галаха» — брюква. «Залётка» — любимый. «Залавок», «судёнка» — [долгий и низкий стол-шкаф от печи по стене]. «Промёжок» — [сено между стожарами озорода]. «Поденье» — осадок в топленом масле. «Заспа» — крупа всякая. «Потки» — всякие птицы. «Поскось» — [конопляное темное волокно]. «Собачиться» — шалить. «Просужий» — хороший, милый. «Гоить», «гойно» — чисто. «Летятина» — дичь. «Елыч» — сок грибной, мясной, селедочный. «Мотовило» — [палка с перекладной для намотки пряжи с веретена]. «Хвостить» — врать. «Тбдильная» — [свободная от работы; старушка дело сделает — и свободна].

Интересно, что в последнее время заметные успехи прозы оказались в следовании достоверности, в документальности. Это



*Александр
Яшин
на покосе.
Блудново.
1963 год*

почти дневник, без специально придуманных литературных сюжетов. Эти вещи покоряют своей авторской непосредственностью, желанием доверительно разговаривать с читателем обо всем, как с ближайшим другом, и убежденность, что все это свое, личное, откровенное, не может быть не интересно и для других.

Мало иметь талант, надо еще верить, что все, что тебя волнует и интересует, обязательно будет интересно и для кого-то другого. В этом случае появляется устойчивое желание все записывать, обо всем писать, а без этого и талант бессилён... Надо верить, что до

тебя об этом никто еще ничего не рассказывал, а если и рассказывал, то не так, как ты можешь рассказать.

Снег в полях утрамбован и весь в разводах, как белый мрамор, только на снегу разводы рельефные, бугристые. Следы лисиц стали выпуклыми, снег между уплотнений выдуло. Следы лисицы — маленькая древняя колоннада, отрытая в песках.

Хорошую погоду ждут, плохую переживают.

Слова родные: «Дивья руководить таким районом!» Поколотиться — похлопотать, обратиться с просьбой. Влазины — новоселье.

Задумана детская книжка: «На родине у папы». — Городской мальчик Миша приезжает впервые в деревню, в колхоз. Все для него ново, интересно.

1. Впервые верхом на лошади, как на двухэтажном троллейбусе. Жутко. Упал, но сел снова. Описать лошадь. До чего широка спина. «А почему она прикладывает уши?»

2. Трактор Миша сравнивает с автомашиной: вести легче, «скости переключать не надо. У гусеничного и тормозов нет.

3. Много «почему?»: Почему в деревне продавец днем уходит из магазина? (...)

4. Особый рассказ о языке деревни, о словаре, о бабушкиных сказках: те же, что Миша знал из книг, и не те — узнаваемы.

В деревне банный день — праздничный день. Топит баню бабушка, молодлица носит воду. Идут в баню по очереди. Первым предлагают — как почет оказывают! (...) Самовар залит водой: наготове. Полы вымыты, половики постланы. Всем приготовлено свежее, чистое белье (зимой — с морозу!). Половики красные. Любят в народе красненькое: красные занавески и половики, красные яички к Христовой пасхе. Солнышко назвали — красным, угол сутный — красным, денежку — и ту красненькой...

Перед грозой тревожно. После грозы — ясность, покой и свет.

Поразило молчание, с каким упал подстреленный глухарь. Молчание обреченности.

Бареточки — 54 клеточки: это лапти!

Река Юг крутится, солнце то спереди, то сзади, то справа, то слева: «Путешествие вокруг солнца!» Это название главки к повести «У папы на родине».

Мысль рождает книгу, книга — мысль.

К стихам «Босиком по земле»: Я босиком ходил только в детстве. А мои сверстники до сих пор любят и ходят с весны до осени босиком, и ноги у них целы, только задубели, закалились, отвердели. Я же свои ноги перерезал, изрезал — были гвозди в моих ботинках. И завидую я друзьям, ходившим босиком всю жизнь.

К книге о Пришвине: Человек рожден, чтобы жить с природой вместе, он сам порождение, часть ее. Потому в городах тоскуют о природе и заменяют ее цветами в горшках. Пришвин не любил цветочных горшков: он презирал фальшь.

Для любви необходимо восхищение, способность восторгаться. Но не чуждо ей и желание, чтобы восторженное отношение было взаимным.

Холостяку хорошо иметь в доме собаку или кошку. А еще лучше самовар: с ним вроде как не один сидишь за столом. Самовар, что хороший собеседник.

Ягодку не видно, пока она не созреет.

Смакую родные слова, красоту которых в детстве не чувствовал. Это названия деревень, речек, сенокосов, лесных волоков. Лубники, Городцы, Вязовики, Суборь, Бобрихи, Хмелевка, Смеряжиха — это сенокосы. А это речки: Куданга, Андонга, Кипшенька, Шарженга, Талица, Ногуля. Деревни: Осиново, Дворьци, Ширь, Малиновка, Овьяницы, Плаксино, Пермас, Липово.

Я как-то не задумывался раньше почему наши северные крестьяне, работая на солнце по целым дням, не любят загорать. Я удивился, что даже в жару женщины и девушки остаются в своих неизменных «пароцках». Все закрыто — грудь, ноги, даже лицо, нависающим на лоб платком. Сейчас я понял: это защита от оводов, от комаров и мошек.

Для стихов: Иду по земле босой. Раздвигаю траву, чтобы ногами почувствовать сырую землю. Из меня вместе с электрическими токами уходит в землю все дурное, горькое, злобное. Остается лишь то, что необходимо мне для жизни, для добра, для людей, для моей семьи, для стихов.

Слышу голос птицы, но еще не вижу ее. Не вижу птицы, но уже могу писать о ней. А лучше, если увижу. Пойму, почувствую ее больше, поговорю с ней.

Березы с завязанными вершинками — память о войне. Узлы эти сделали призывники, уходившие на войну: повянет березка — значит беда. Не повяли вершинки, выросли березки, а парней все-таки нет в живых. Не вернулись они с войны. Войны здесь не было, а следы ее остались.

Умри внутренний редактор! Иначе я ничего не напишу. Меня интересует только внутреннее «я».

Для прозы: снова думаю о том, что надо бы записывать кратко, конспективно, на отдельных карточках биографии интересных, встреченных мною людей либо случаи из их жизни. (...) Слишком поздно перешел я на прозу. А видно и пережито очень много. Не успею ничего написать как следует. Сил уже не стало, а может, просто изленился я.

Тимониha, Тимониha! Восемь баб, один мужик, да и тот начальник. Но зато здесь Вася родился... [Писатель Василий Белов, друг и земляк Яшина].

(...) Весной, как на фронте, все необычно, все надо повидать самому, самому — на току, на берлоге.

А снег-то хрустит! И всегда по-разному. Зимой один скрип — сухой, жесткий. Весной — мягкий, чавкающий. А по заморозку — колющий, режущий, стеклянный.

Все-таки Бобришный Угор — место редкой красоты. Из-за одной сегодняшней ночи (сейчас 22 часа [4 или 5 мая 1966 г.], я один с «летучей мышью», с пивом и топящейся печкой. Да еще спидола

на столе), из-за одной этой лунной тихой, еще холодной ночи стоило строить мою избу. Внизу сияет вода, как море. Глубины ее кажутся неизведанными; дали бесконечны, за рекой бобочет заяц. С вечера токовали тетерева в стороне Летовища, где мой шалашик. На небе вокруг луны небольшие спокойные облака, как оформленные ее. Все — почти роскошная театральная декорация: настолько хорошо, что кажется ненастоящим.

Деревня Шолково мне всегда казалась какой-то праздничной, радостной, светлой — вероятно, из-за того, что она стоит над рекой, на ее высоком берегу. Любая река, один вид ее — украшает деревню и, конечно, сказывается на всем укладе жизни ее обитателей. В Шолкове извечно делали лодки на всю округу. В Шолкове — всегда рыба, утки — рыбаки и охотники. В этом есть тоже что-то праздничное. То, что в Шолкове один чей-то дом был каменный (кирпичный), связывалось в моем воображении с близостью реки...

Интересно, что основная масса колхозников ныне почти не знает весенних полевых работ, да, пожалуй, и вообще полевых работ. Все делают механизаторы — тракторист-два,

Спрашиваю маму:

- Какой тебе лес больше нравится?
- Глётнется-то? Да все равно.
- Ну сосновый или березовый?
- На дрова, лучше березовый.

Тетерева, да и любые другие птицы (и рыбы!) поднимаются по тревоге одновременно всей стаей, сразу. Кто подает сигнал — неведомо! Может быть, какое-то незаметное для нас мгновение между тревогой и взлетом первой птицы и взлетом всех остальных птиц все же есть, но человеческие простые, примитивные органы не могут уловить его. Это доступно разве электронной машине, да и то вряд ли!

Писать бы здесь ежедневно по страничке, как дневник: перемена пейзажей, все, что вижу. И так подряд три весны! Ну — две!..

Лягушки поздним вечером хоркают похоже на вальдшнепов, сбивают с толку. «Воргуют».

- Лягушки воргуют, будет тепло, — говорит мать.

Спинжак — пиджак. Это переделка слов, похожая на колоток — молоток, и толшучка.

У нас птицы — «потки», все цветы — «бабурки». Почему подберезовики — «обабки»?

«Осенью пинок (гриб), зимой — пирог!»

Для прозы:

За кузницей на зеленых откосах мы ползали на коленях, выискивая «богородицны ручки», и ели их. Что это за травка — я до сих пор не знаю. Среди листьев небольшие зеленые веточки, вроде черемуховой цветной завязи, но самой ранней, только что отделившейся от листьев, вылупившейся из почки, с той лишь разницей, что у «божьей», «богородицной ручки» все ягодки-шарики были с одной стороны стебелька, и это был, по-видимому, не цветок, а плод. Поедать эти «ручки» было необыкновенно приятно, они хрустели на зубах, хотя ни одного ядрышка в этих плодовых образованиях не было. Потом листики и стебли щавеля — он рос повсюду. У нас его зовут кислицей, так же как и ягоды красной смородины. Щавель появлялся на заливных речных сенокосах почти сразу после спада воды. А еще раньше ели мы пистики на мокрых низких полосах в паровом поле. Пистики — это молодые побеги хвоща. Они действительно походили на пестики. Есть их можно в сыром виде, очищая от кожуры, а еще лучше в вареном, чуть подсоленными. Мне тогда казались они великим лакомством, а оказывается, это еда голодных лет:

— Собираете ныне пистики, варите? — спросил я недавно свою мать.

— А на что они? — ответила она вопросом. — Нынче ведь не голодаем, хлеба хватает всем привозного, были бы деньги. С городской хлебопекарни по всему району развозят, только покупай, было бы купило.

В Вырыпаеве я получил два колокольца и колоколец с коровы. Маленький колоколец — звончик. Большой — колоколец. Коровий — кболоколо.

Для прозы: Красиво, когда деревня стоит на берегу реки или озера. Тогда с ней не сравнится никакая другая деревня. Пусть даже дома ее не новы и не очень обрядны, и улицы не так сухи,

все равно она хороша, и особенно, конечно, издалека, с воды. Вода красит и лес, и луга, и селенья.

Наступило, видимо, бабье лето. Тихо, солнечно, сухо. Только ночи холодные. Вода в реке очень холодна. Листья на черемухах побагровели, не знаю даже что и за цвет: бордовый и ярко-оранжевый, зелень и золото. Вязы еще зеленые и здесь, как на Темном мысу под Вологдой.

23 сентября [1967 г.] (...) Утром по первому инею очень страшно бывает выходить из теплой избы. С непривычки. А зимой, в мороз, в метель — ничего (...)

На муравейнике — ни муравья. Осень. Синички появились около дома — веселые, энергичные, посвистывают...

Вечер. Мир затихает. С озера пролетели две пары уток за реку, на кормежку (...). В 17.45 полетели журавли: слева от меня клин в 40 птиц, справа — только восемь. Я сижу за столом у дома, лицом к реке. Журавли переговариваются нечасто, спокойно. (...)

Очень тихий вечер. Солнце вот-вот сядет, вершины деревьев еще освещены. (...) Слышно, как в деревне бренчат колокольцы на коровах — у нас их зовут «кюлоколами». Переговариваются люди — слышны, в основном, женские высокие голоса.

Осень так неправдоподобно красива и тиха, что я то и дело недоверчиво озираюсь: нет ли и тут какого-нибудь очковтирательства.

Чутье, интуиция даны художнику, по-видимому, как и талант, поэтому в его творчестве, в стихах предчувствием определяется многое гораздо раньше, чем осознанием. (...)

*Подготовка текста, составление
и публикация З. К. ЯШИНОЙ*

Обращение

Спи, сыночек дорогой,
Спи, соколик золотой.
Спи-ко, Коленька,
Спи-ко, крошенька.
Уж ты спи, мое дитя,
Я убайкаю тебя.
Я убайкаю, улажу,
По головушке поглажу.
Спи-тко, теплая сугрева,
Отцу-матери замена
Бай-бай, бай-бай,
Поскорее вырастай.
Когда вырастешь большой,
Пойдешь в поле за сохой.
Будешь сеять и косить,
Будешь хлебы молотить.
Бай-бай, бай-бай,
Пооди, бука, на сарай,
Пооди, бука, на сарай,
Коняам сена надавай.
Бай-бай, бай-бай,
Ты, собачка, не лай,
Белолопа, не скули,
Мою детку не буди.
Уж ты сон да дрема,
Приди Коле в голова.
Котя, котенька-коток,
Котя серенький хвосток,
Приди, котя, ночевать,
Мою деточку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кувшин молока
Да кусок пирога.

Кольбельная записана в 1977
году в деревне Вирма Бело-
морского района Карельской
АССР от М. В. Дементьевой



Русские народные колыбельные песни представляют особый жанр в фольклоре. Их называют порой поэзией материнства. Они приобщают ребенка к человеческой речи, знакомят с окружающими его людьми, животными, предметами.

К ребенку направлена большая часть обращений песен. Из них можно выделить две группы.

В одной — в роли обращений выступают имена детей, слова *ребенок, дитя*, не содержащие эмоциональных оценок: *Спи-ко, Ваня, засыпай, Поскорее вырастай; Спи, дитя, до поры, Не здымай головы.*

Обращение к ребенку может стоять в начале песни, и тогда оно входит в зачин, причем одним зачином могут начинаться несколько песен. Зачином двух сюжетов является следующая традиционная формула: *Спи, дитя, до поры, Не здымай головы.* За ним обычно следует: *Когда будет пора, Мы разбудим тебя... или Выздынешь головку — получишь кологовку.*

Другая группа обращений к ребенку отличается эмоциональной окрашенностью. В большинстве случаев имя ребенка употребляется в ласкательной форме: *Иванушка, Настенька, Алешенька, Танюшка* и т. д. Большую роль в усилении эмоциональности играют эпитеты, которые стоят при обращениях, выраженных именами собственными или существительными *дитя, сыночек, доченька*: «Спи, дитя мое родное, Спи, уваженное, Спи, уваженное, Спи улаженное»; «Спи-ко, ребенок дорогой, Ненаглядный, золотой»; «Спи-ка, Санюшка, Спи, маленькой, Спи, худенькой, Спи, маленькой, Спи, узенькой».

В качестве обращения могут выступать субстантивированные прилагательные с притяжательными местоимениями или без них: «Спи-тко, маленький, Спи, желанненький».

К ребенку обращаются, называя его *солнышко, соколик, голубочек, рыбка.*

Некоторые обращения включают в себя интересные перифразы, подчеркиваются характерные черты ребенка: «Спи-тко, теплая сугрева, Отцу-матери замена»; «Ты сугрева теплая, Раста замена легкая, Уж ты, легонький посол, Куда поплешь, туда пошел».

Одним из частых элементов обращений является также повторение: «Спи-ко, девица, спи, красавица, Спи, красавица, бесприданница».

В обращениях колыбельных встречаются и неологизмы, созданные с помощью ласкательно-уменьшительных суффиксов: «Соплянушка, Голубанушка, Соколанушка»; «Дитятко, дитя маленькое, Маленькое, крохотанненькое».

Иногда мать, выведенная из себя непослушанием ребенка, может обратиться к нему в следующей форме: «Спи, мое зевало, Спи, мое горлало».

Хотя наиболее ранние записи колыбельных относятся лишь к XIX веку, но и в них сохраняются еще следы мифического мышления, для которого характерно представление различных состояний человека в виде живых существ. Такими мифическими существами являются Сон, Дрема, Покой (Упокой), Угомон. К ним в песнях обращаются с просьбой дать сон ребенку. Обращения к Дреме и Сну встречаются, в основном, в трех вариантах: «Сон да Дрема, Накатись на глаза; Уж ты Дремушка-дрема, Приди (имя ребенка) в голова; Еще сон-дрема, Навались на тебя».

Для усиления экспрессивности требования могут быть использованы глагольные синонимы, повторы: «Сон да дрема, Накатись на глаза; Накатись, навались Да на Андрейкины».

Обращения к Сну и Дреме чаще всего являются зачином песни, имеющей довольно устойчивую сюжетную схему: Сон и Дрема ищут колыбель, обещают усыпить ребенка, ссорятся и т. д.

Во многих обращениях образы Сна и Дремы нераздельны, глагол употреблен в единственном числе: *Ешио Сон-дремота, навались на тебя!* Существа, к которым обращаются,— это что-то неопределенное, что должно «навалиться» на ребенка, «накатиться» на него, смежить ему веки. Можно предположить, что разделение образов произошло позднее. Так, к традиционному зачину в следующей песне присоединилось еще одно обращение, в котором образы Сна и Дремы представлены отдельно: *Сон, усыпи; дрема, удремли.* В некоторых песнях образы выступают явственнее. В одном из текстов это какие-то очень маленькие существа: «Сон шел по нитке, Дрема по паутинке, Нитка урвалась, Паутинка прорвалась».

Иногда эти существа имеют человеческие черты: ходят, разговаривают, ссорятся, одеты, как люди: «Сон идет по лавочке В красненькой рубашечке»; «Сон в сапогах, Дрема в катанках», «По полу, по лавочкам Похаживают, Ванечке в зыбочку Заглядывают, Заглядывают, Спать укладывают».

Сон и Дрема порой выполняют обязанности няньки и даже получают обыкновенную для деревенской няни плату. Меняется и форма обращения к ним. К Сну и Дреме могут обратиться как к нерадивым няням: «Глупый сон, сон, Неразумная дрема! Баю, баю! Неразумная дрема, Мимо ты ходишь, Колыбели не находишь». Существа эти, видимо, представлялись незрячими: чаще не ходят, а «бродят» по улице, сеним, повети, лавочкам: «Дре-

мушка-дрема По проулочку брела»; «Сон да дрема По новым сенам брела».

Традиционной устойчивой формулой является и обращение еще к одному мифическому персонажу — Покою (Упокою): «Упокой дорогой, Глазки Клавдиньки закрой».

Широко распространены в колыбельных песнях обращения к коту. Кот — животное, спящее днем, — является как бы носителем сна. Наиболее ранними формами обращений, вероятно, следует признать те, в которых кота просят принести сон-дрему как что-то вещественное: «Ай да серые коты, Принесите дремоты». В большинстве же текстов к коту обращаются с просьбой усыпить ребенка, укачать его: «Приди, котя, ночевать, Нашу детку покачать». Чаще всего обращение к коту является зачином известной песни, в которой коту обещают плату за работу: «Уж как я тебе, коту, за работу заплачу: Дам кувшин молока, Да кусок пирога». Обращения к коту обычно выражены существительными с ласкательно-уменьшительными суффиксами: *котик, коток, котилька, котушка, кисанька*. Они избыточно повторяются синонимами (*котичек-коток, кот-котонай*).

Еще одна группа персонажей, к которым обращаются в колыбельных песнях, — существа, мешающие ребенку спать. Это прежде всего бука — страшное существо, которым пугали ребенка. Буку в песнях всегда изгоняют, причем в какое-то определенное место: «Иди, бука, под сарай, Коням сена накидай».

Другой персонаж, которому запрещают пугать ребенка, — старик Бабай (Бадай, Мазай, Мамай): «Не ходи, старик Бабай, Мне девчонку не пугай».

Возникнув в глубокой древности, когда существовала вера в силу слова, колыбельные песни могли иметь магическое значение. Со временем они утратили заклинательную функцию. Основным в колыбельной песне становится выражение мыслей, чувств, настроений человека.

А. Н. МАРТЫНОВА

Рисунок В. Толстоногова

РУССКОЕ УДАРЕНИЕ

Начиная с этого номера в журнале «Русская речь» будут публиковаться статьи о нормах ударения в современном русском литературном языке. Надеемся, что эти материалы заинтересуют наших читателей.

I

Правильная постановка словесного ударения — необходимый признак грамотной речи, верный показатель общей культуры говорящего, степени владения им литературным языком. Человек, не преднамеренно сказавший *пбртфель* или *собрание провѣдено*, сразу предстает в невыгодном свете. Между тем на разноречивую и сложную современную русскую ударения сетует и стар и млад. Пожалуй, нет другой области в языке, которая вызывала бы сейчас столько сомнений и колебаний, порождала бы такие ожесточенные споры и дискуссии. Среди вопросов к специалистам значительное место принадлежит таким: *индустрия* или *индустри́я*? *договор* или *дѣговор*? *творба* или *творѡс*? *премировать* или *преми́ровать*?

Современная интеллигенция чрезвычайно остро реагирует на отступления от литературных норм ударения. Не так давно, например, группа ленинградских юристов настойчиво требовала оперативного и законодательного вмешательства лингвистов с целью устранить (запретить!) довольно распространенное ударение *прѣговор* (оно встречается и в поэзии: у Безыменского, Корнилова, Симонова, Наровчатова и других). В современной речи некоторые слова обнаруживают предпочтительность того или иного варианта ударения в зависимости от профессиональной или социальной среды. Так, ударение *километр* (вместо строго литературного *киломе́тр*) сейчас весьма распространено у шоферов, техников и т. п. Любопытен такой случай. Ныне покойный вице-президент Академии наук СССР академик И. П. Бардин, крупнейший металлург, на вопрос московских лингвистов, как он говорит: *киломе́тр* или *киломе́тр*? дал такой полушутливый ответ: «Когда как. На заседании Президиума Академии — *киломе́тр*,

иначе директор Института русского языка морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, конечно, *километр*, а то подумают, что зазлался Бардин».

Сложность усвоения русского ударения (на что часто жалуются иностранцы, изучающие русский язык) иногда объясняют его разноместностью и подвижностью. Действительно, в нашем языке ударение может падать и на начало слова — *вб́рот*, и на середину — *во́рота*, и на конечный слог — *во́ротник*, и даже выходить за пределы орфографического слова — *налить за вб́рот и за в́орот*. При образовании грамматических форм русское ударение часто переходит с одного слога на другой: им. *голова́*, род. *голово́в*, вин. *го́лову*, твор. *голово́в*, им. множ. *го́ловы*, твор. множ. *го́ловами*. Однако это едва ли доставляет слишком много хлопот русскому человеку, освоившему язык с детства. К тому же разноместность и подвижность ударения, если взглянуть на эти свойства шире, весьма полезны, с их помощью различается и смысл многих слов: *за́мок* — *замо́к*, *му́ка* — *мука́*, и грамматическое значение форм: *насыпа́ть*, *песов*, — *насы́пать*, *сов.*; *анализ кро́ви*, род. пад. — *руки в кро́ви*, предл. пад.

Истинные трудности в выборе места ударения заключаются скорее в его исторической изменчивости и неизбежном (хотя и временном) сосуществовании старого и нового вариантов, что как раз и порождает колебания. Только за последние сто лет (не говоря уж о языке XVIII века, когда в ходу были такие ударения, как *возду́х*, *призна́к*, *призра́к*, *клима́т*, *заплачу́т*, *разруши́т* и т. п.) русская акцентологическая система (система ударения) претерпела довольно существенные изменения. В этом нетрудно убедиться, обратившись к классической поэзии. У А. Пушкина, М. Лермонтова, Е. Баратынского, И. Никитина, А. Фета, А. К. Толстого мы встретим несвойственное нынешней норме ударение *кладби́ще*. Пушкин обычно ставил ударение: *музы́ка*, *библиоте́ка*, *эпигра́ф*, *засу́ха*, *физиоло́г*. В романе «Евгений Онегин»: «Музы́ка будет полковая...», «Но вы, разрозненные томы Из библиотеки чертей...», «Он знал довольно по-латыни, Чтоб эпигра́фы разбира́ть...». Причем такое произношение вовсе не было «поэтической вольностью», именно оно было общелитературной нормой того времени. Кстати, поэтов часто незаслуженно упрекают в якобы насильственной подгонке ударения под ритм стиха, когда в действительности используется исконный, но уже устаревший вариант. Так, Вяземский, Брюсов, Пастернак употребляли слово *гондо́ла* с ударением на первом слоге — *гбндо́ла* — отнюдь не по прихоти рифмы, а в соответствии с прежним произношением этого итальянского слова (ср. в академическом Словаре русского языка 1892 г.: *гбндо́ла* и *гондб́ла*).

Вообще ознакомление со старыми словарями и работами по истории русского ударения открывает иногда поразительные для неискушенного читателя факты. В XIX веке, например, говорили только *тока́рь*, а не как теперь *токарь* (колебания впервые зафиксированы в конце прошлого столетия). 60–70 лет назад известные русские филологи Я. К. Грот и В. И. Чернышев считали равноценными вариантами *на́сморк* и *насмóрк*. В Толковом словаре В. И. Даля рекомендовалось ударение *маномéтр*, а в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова еще допускалось в качестве нормативного *лексикогра́ф* (теперь же словарники именуют себя только *лексикóграфами*).

Важно при этом подчеркнуть, что все эти изменения неминуемо проходили через стадию варьирования, когда старый вариант еще не ушел, не забыт, а новый не вполне укрепился, не приобрел всех прав литературного гражданства. Вот поэтому-то и сейчас одни говорят *пéгля*, другие — *петля́*, одни — *йскри́ться*, другие — *искри́ться*, одни — *запа́сный*, другие — *запасно́й*, нередко при этом или сомневаясь в правильности выбранного варианта или, наоборот, отстаивая привычное для себя ударение. Несомненно, эти и другие сложные, спорные факты конкурирующего ударения должны рассматриваться и оцениваться объективно, на основе исторического анализа и с учетом общих тенденций в развитии русского ударения.

Нередко полагают, что колебания в ударении вызываются главным образом социально-профессиональными различиями. Это не совсем так. Правда, и для современной речи характерны отдельные профессиональные ударения, вроде: *агониа́*, *а́лкоголь*, *маниа́* — у медиков, *компа́с*, *рапóрт* — у моряков, *дóбыча*, *ру́дник* — у горняков и шахтеров, *комплéкс* — у математиков, *астро́ном* — у астрономов, *ша́сси* — у летчиков и т. п. Однако таких строго закрепленных вариантов сравнительно немного, к тому же взаимопроникновение профессиональных наречий постепенно подрывает саму основу их существования. Есть свидетельства, что даже моряки, несмотря на относительную языковую изолированность и давние флотские традиции, не всегда придерживаются профессионального ударения. Но суть дела даже не в этом. Такие различия сами по себе, как правило, не являются исходной причиной смещения ударения. Обычно в этих случаях наблюдается или консервация старого, уже существовавшего ударения, например: *дóбыча*, *компа́с*, или освоение нового: *бигум*, *фрезá*. Таким образом, социально-профессиональные особенности (при всей их важности) не оказывают решающего воздействия на общий процесс развития русского ударения.

До недавнего времени одной из главных причин изменения и колебания ударения в русском языке справедливо признавалось влияние территориальных диалектов. Действительно, заметные различия северных говоров (*зиму, в кувшине, отдал, варишь, взялся*) и южных (*зимѹ, в кувшинѣ, отдал, варишь, взялся*) не могли исторически не сказаться на судьбе ударения в литературном языке. Известно, что русское литературное ударение вначале складывалось на северной диалектной основе, а впоследствии испытало сильное воздействие со стороны южновеликорусских говоров. Думается, однако, что сейчас в связи с общим процессом угасания диалектной речи и постепенным стиранием территориальных различий воздействие диалектного ударения также перестает быть решающим в развитии акцентологической системы русского литературного языка. Скорее; наоборот, общеобязательные, относительно устойчивые и пропагандируемые с помощью средств массовой информации (радио, телевидение) нормы литературного ударения заметно влияют на речь самих носителей диалектов. Это, конечно, не означает, что в современной литературной речи нет диалектных по происхождению ударений. К сожалению, иногда еще наблюдаются такие ненормативные ударения, как *вещи принѣсены, собрание провѣдено, новые постройки засѣлены* и т. п. Встречаются они и у современных поэтов, например: *верба* — «Когда в лесу верба засеребрится И зажурчат приветливо ключи, Из дальних стран летят в Россию птицы — Веселые, горластые грачи» (Кондырев. Прилет грачей); *в кувшинѣ, с кувшином* — «Сухо в грязном кувшинѣ: Нет ни капельки на дне» (С. Михалков. Миша Корольков); «Как в детском сне в селе родном, Я вижу здесь фонтан, Где медвежонок с кувшином Мне подает стакан» (Кондырев. Долина роз). Однако эти и другие примеры вовсе не опровергают общего соображения об уменьшении воздействия диалектного ударения на литературный язык. С этим положением согласуются и недавно полученные данные социолингвистического обследования. Распределение ответов на специальные вопросники сейчас практически уже мало зависит от принадлежности информантов (по месту рождения или жительства) к традиционному диалектному членению русского языка: север — юг. Более контрастные расхождения намечаются, пожалуй, между культурно-историческими центрами (Москва, Ленинград) и периферией (в широком смысле слова).

Естественно, что на общее развитие системы ударения русского литературного языка не могли оказать сколько-нибудь заметного воздействия и такие внешние факторы, как парные источники заимствования, например: англ. *револьвер* — франц. *револьвѣр*; влияние языка посредника: польск. *документ*; а также недостаточ-

ная освоенность экзотической лексики: *пiмь* и *пимь*, *у́нты* и *унтó* и т. п.

Очевидно, что основные причины изменения и колебания ударения на современном этапе развития русского литературного языка скрываются в его самой внутренней системе, в стремлении (часто, правда, не осознаваемом) к более рациональной и удобной организации, к облегчению произношения и запоминания. Иначе говоря, так же как в лексике и грамматике, в акцентологии (разделе языкознания, изучающем вопросы ударения) становится особенно заметным воздействие принципа целесообразности. Это постепенно делает систему ударения более стройной и последовательной. Причем влияние внешних факторов (территориальные диалекты, контакты с другими языками и др.) результативно сейчас уже только в тех случаях, когда они действуют в направлениях, совпадающих с внутренними устремлениями литературного языка.

Среди внутренних причин, существенно преобразующих современные нормы литературного ударения и тем самым вызывающих его колебания (вариантность), наиболее ощутимым является воздействие формальной аналогии, то есть стремления к уподоблению места ударения у формально сходных слов. Например, многие производные слова первоначально наследуют ударение своих «родителей» (производящих основ), но впоследствии начинают уподобляться влиянию «внешней среды», то есть формально сходных слов. Так случилось с глаголами *искриться* от *искра* и *вихриться* от *вихрь*. Вспомним еще у Некрасова: «Вино на солнце *искрится*, Густое, маслянистое». Однако сейчас все чаще поэты (Тихонов, Берггольц, Фатьянов, Друнина, Алигер, Л. Васильева и др.) произносят *искрiтся* (а не *искрится*): *снег искрiтся на солнце*.

Изменение ударения (*искриться* — *искрiтся*, *вихриться* — *вихрiтся*) произошло в силу воздействия многочисленной группы глаголов на *-иться*: *клубiться*, *змеiться*, *кружiться*, *носiться* и т. п. Еще в XIX веке наблюдались ударения *рiскошный* от *рiскошь*, *мыслитель* от *мыслить*, *избавитель* от *избавить*. Могучая сила формальной аналогии изменила ударение в этих словах и стало: *роскiшный*, *мыслитель*, *избавитель*.

Особенно примечательно воздействие аналогии у кратких форм страдательных причастий и прилагательных. Как известно, по традиции в женском роде (в отличие от других форм) ударение приходится на окончание: *прiдан*, *прiдано*, *прiданы*, но *проданá*; *склiнен*, *склiнно*, *склiнны*, но *склоннá*; *жестiк*, *жестiко*, *жестiки*, но *жестокá*. Именно такое ударение (*жестокá*) и рекомендуют многие современные словари. Очевидно, однако, что ударение в женском роде постепенно теряет свою исключительность и уподобля-

ется другим формам. Теперь все чаще говорят: *пробана, склбнна, жестока*. Ср. у поэтов: «Я схоронив отца, Мать проводив до срока, Не понял до конца, Как жизнь ко мне жестока» (Лисянский. Живем во всем живом); «Судьба порой жестока и горбата. И, не прося от жизни ничего, Как правильно иметь родного брата И верный локоть чувствовать его» (Ошанин. «В глаза друг другу...»).

Конечно, процесс преобразования ударения далеко не исчерпывается воздействием фактора аналогии. Но следует подчеркнуть,

«НАШ ВЕК ПОРОДНИЛ

Этой лаконичной стихотворной строкой сибирский поэт Роман Солнцев точно выразил одну не перестающую удивлять особенность НТР: научно-техническими открытиями нашего времени сведено воедино, казалось бы, несопоставимое — стекло и женская мода, подснежник и бионика, статистика и культура речи.

Еще в 20-е годы ученые-лингвисты высказывали идеи о том, что в исследованиях русского литературного языка может быть использован количественный метод. Так, в статье «Десять тысяч звуков» А. М. Пешковский писал о необходимости введения подсчетов в фонетике, но его рассуждения справедливы также и применительно к общей стилистике литературного языка: «... исследователю поэтического произведения чрезвычайно полезно было бы иметь хоть какую-нибудь объективную мерку для установления самого факта преобладания того или иного звука. Между тем такой объективной мерки у него нет. Он судит исключительно интуитивно, на слух (если, что еще хуже, не на глаз). Ему кажется, что такого-то звука в тексте „много“, а такого-то мало... Однако, отсутствие объективной базы, поскольку речь идет о науке, терпимо быть не может» (А. М. Пешковский. Сборник статей. Методика родного языка. Лингвистика. Стилистика. Поэтика. Л.— М., 1925, с. 167).

Время шло, и появлялись конкретные работы, в которых лингвистическая статистика, вначале очень робко и осторожно, но все же ставилась на службу практическим целям нормализации языка. С. П. Обнорский, Л. В. Щерба и А. Н. Никулин составили «Вопросник по нормативной грамматике русского языка», который был распространен в 1939 году среди лиц разных возрастов и профессий. На него было получено 96 ответов. Опыт не был продолжен, но идея вопросника получила поддержку и развитие в работах

что, хотя историческое изменение места ударения в слове, появлени-
е колебаний и ведет к неизбежным временным неудобствам
частного характера, они искупаются последующим совершенство-
ванием и более целесообразной организацией акцентологической
системы русского языка в целом.

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

Продолжение следует

ПОДСНЕЖНИК И ЦИФРУ...»

С. И. Ожегова. В 1955 году был составлен «Вопросник по произно-
шению, ударению и грамматическим формам современного русско-
го литературного языка». В предисловии к нему С. И. Ожегов
писал:

«Нормализация современной литературной речи должна пре-
жде всего опираться на анализ закономерностей исторического раз-
вития литературного языка. Одним из лучших источников для
изучения закономерностей развития языка является современная
живая речь, ибо в ней, как в фокусе, во всей полноте, сосредото-
чены одновременно и отражения путей развития предшествующих
этапов развития языка и новые тенденции этого развития. Анализ
современного состояния языка в свете закономерностей историче-
ского развития — основа объективно убедительной нормализации
литературной речи. Но такой анализ возможен только при наличии
большого материала».

Вопросник был напечатан в 1956 году тиражом в 1500 экзем-
пляров и распространен среди студентов I Московского государ-
ственного педагогического института иностранных языков. Было
получено около 700 ответов, на основе которых написаны и опу-
бликованы научно-исследовательские работы о нормах произноше-
ния современной студенческой молодежи. Вопросник 1956 года
обработывался вручную, чем и вызвано сравнительно небольшое
число полученных ответов, характеризующих речь лишь одной
возрастной среды.

В 1959—1964 годах в связи с разработкой темы «Русский язык
и советское общество» (руководитель С. И. Ожегов) подготовлены
четыре новых вопросника — по произношению, грамматике, сло-
вообразованию и лексике. Данные вопросники (по сравнению с

предшествующими) имели некоторые преимущества: во-первых, они составлены по специальностям; во-вторых, паспортная часть, в которой отвечавшие сообщали сведения о себе (год и место рождения, образование, профессия, место жительства и т. д.), была более подробной и детализированной. Кроме того, в 1965 году была предпринята первая механизированная обработка вопросника по морфологии, затем по произношению и словообразованию. Это дало возможность собрать обширный статистический материал: так, только по морфологии обработано свыше четырех тысяч заполненных вопросников, а в итоге получено 1890 таблиц. Полученные материалы частично использованы в монографии «Русский язык и советское общество» (М., 1968), но большая их часть вошла в основу книги «Русский язык по данным массового обследования» (М., 1974).

Параллельно с развитием анкетного метода (вопросников) внимание исследователей привлек метод непосредственного опроса (так называемый активный метод) или, когда это возможно, прямое наблюдение за речью городских жителей (пассивный метод). Эти методы дают возможность использовать статистику в изучении вариантов нормы в условиях естественной устной речи. В статье Н. Д. Андреева «Об одном эксперименте в области русской орфоэпии» (сб. «Вопросы культуры речи». Вып. IV. М., 1963) на статистическом материале рассмотрены варианты произношения прилагательных на *-ский*: *невский*, *казанский*. Автором убедительно доказано, что для основной массы говорящих на русском языке живой нормой употребления является мягкий вариант произношения: *-ский*, а не *скъй*. Метод пассивного наблюдения за устной и письменной речью можно считать идеальным с точки зрения естественных условий для получения материала. Однако он не всегда может обеспечить необходимую представительность слов и форм с низкой частотой употребления. Сочетание активного и пассивного способов наблюдения возмещает недостатки каждого из них и в наибольшей степени раскрывает возможности статистического метода в целом.

В течение 1968—1972 годов в секторе культуры русской речи Института русского языка АН СССР (Москва) был подготовлен частотно-стилистический словарь вариантов под названием «Грамматическая правильность русской речи» (М., 1976; авторы: Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская). По своему жанру он стоит в ряду словарей-справочников, посвященных проблемам нормализации литературного языка. Словарь дает систематизированную сводку наиболее употребительных синтаксических,

словоизменительных и словообразовательных вариантов. В нем рассмотрены и смежные явления, воспринимаемые пишущими и говорящими как варианты. В словаре приводятся статистические показатели употребления вариантов в речи; развернутый лингвистический комментарий с учетом всех новых исследований о каждом типе вариантов; общая и постатейная библиография. Статистические данные получены на основе выборочного обследования, примерно, пятисот номеров газет за 1968—1972 годы. Длина выборки составила около двух миллионов слов. Такая выборка содержала сто тысяч вариантов. К словарю приложены сводные статистические таблицы.

Среди многих откликов, полученных на выпущенный словарь, есть и такие, в которых ставится под сомнение необходимость введения количественных показателей. Так, инженер Н. Никифоров из Москвы в своем письме пишет: «Принцип, положенный в основу этого словаря, заключается в наборе статистических данных из газет о частоте употребления того или иного грамматического варианта. Но здесь сразу возникает вопрос: не ошибочно ли написание в газете? Ведь, к сожалению, в газетах встречаются грамматические ошибки... Разве не существует просто-напросто грамматических правил?».

Да, грамматические правила, бесспорно, существуют. Однако в живой повседневной речи встречается немало синонимических, равнозначных способов выражения одной и той же мысли: *работают сто человек — работает сто человек; две основные задачи — две основных задачи; собрать по пять тонн с гектара — собрать по пяти тонн с гектара — собрать пять тонн с гектара; рекомендовать директором — рекомендовать как директора — рекомендовать в качестве директора* и многие другие. В ряде подобных случаев варианты широко употребляются в пределах литературного языка и не могут квалифицироваться как ошибочные. В одних стилистических условиях общения предпочитают одни варианты, в других — иные. В этих случаях количественные данные используются лишь как вспомогательные характеристики, показывающие степень предпочтительности того или иного варианта в газетной речи. В каждом отдельном случае появляется необходимость более подробно объяснить то или иное явление.

Возьмем другие примеры — варианты склоняемых и несклоняемых географических наименований (топонимов). Как правильно написать в официальных документах: В Народной Республике *Ангола* или *Анголе*? Присланы документы из города *Камень-Каширский*, *Камень-Каширского* или *Камня-Каширского*? Соревнования

проходят в городе *Веллингтон* или в городе *Веллингтоне*? Подобных вопросов можно задать немало, однако ответы на них не могут быть однозначными. Дело в том, что случаи употребления собственных географических наименований в имеющихся справочниках подробно не комментируются. Не отражены эти правила и в школьных грамматиках. Норма употребления подобных форм за прошедшее пятидесятилетие в русском литературном языке складывалась стихийно, без участия лингвистов. Нужны специальные исследования, в том числе и статистические, чтобы определить тенденцию в развитии наблюдающегося процесса конкуренции вариантов. Только в результате тщательного и детального анализа материала могут быть выработаны специальные рекомендации, предписывающие употребление тех или иных форм.

Ясно, что в подобных случаях значение объективных количественных характеристик резко возрастает. Что, например, показывают нам данные словаря «Грамматическая правильность русской речи» в этом типе вариантов? Показатели достаточно контрастны. Из ста тысяч вариантов в 981 случае были зарегистрированы географические названия русского, славянского (украинского, белорусского, польского, чешского) происхождения, употребленные в составе приложения. Из них отмечено 514 склоняемых форм (типа *в городе Серпухове, в селе Шушенском*) и 467 несклоняемых — *южнее озера Лубень, у станции Чистенькая* (в процентном соотношении соответственно 52,4 и 47,6). Зафиксировано, таким образом, предпочтительное употребление склоняемых форм, хотя и процент несклоняемых достаточно высок. Совершенно иное соотношение в группе иноязычных названий типа *из города Плейнс, в порту Эвекинот, в местечке Глапакоян* и под. (в несклоняемой форме — 82,34 процента, а в склоняемой — всего 17,66). Как видим, склоняемые варианты совсем немногочисленны среди иноязычных топонимов, но предпочтительны среди русских и освоенных названий.

При дальнейшем изучении материала становятся более ясными причины, мотивирующие в каждом отдельном случае тот, а не иной выбор варианта. В частности, особые нормы употребления сложились в терминологических названиях. Так, в сочетаниях со словом *республика* не склоняются наименования на *-й* и твердый согласный: *в Республике Парагвай, из Народной Республики Бангладеш, в Демократической Республике Афганистан*. Уже сложилась норма употребления топонимов, оканчивающихся на *-а*: *в Народной Республике Ангола, у Республики Куба* и под. Совсем иная норма закрепились у наименований на *-ия*. Все топонимы-приложения этой

группы в косвенных падежах неизменно склоняются: в Народной Республике Болгарии, по Республике Исландии, в Социалистической Республике Румынии. В течение многих десятилетий мы не склоняем иноязычные топонимы в сочетании с родовыми названиями штат, провинция, кишлак, аул, многие иноязычные, да и русские названия малых населенных пунктов, станций, островов.

Таким образом, две самые легкие и удобные формулировки правил относительно употребления топонимов-приложений — склонять или не склонять — оказываются совершенно непригодными. Рекомендация — склонять географические названия — не соответствует действующей языковой тенденции и не подходит для многих групп топонимов. Правило — не склонять эти названия — опасно еще большим отступлением от существующей традиции и может вызвать обоснованные возражения многих лиц разных профессиональных слоев общества, литературно говорящих и пишущих. Наиболее целесообразным поэтому представляется путь создания детально разработанных правил. Эти правила должны предусматривать, с одной стороны, три разные стилистические сферы использования топонимов — строго литературное (письменное), устно-разговорное и профессиональное употребление — и, с другой, изменение нормы применительно к разным типам наименований.

Как видим, статистические показатели необходимы, но они учитываются исследователями наряду с другими факторами, определяющими норму употребления слова или формы.

Л. К. ГРАУДИНА

Доктор ПРИШЕЛ — доктор ПРИШЛА

Род существительного и пол существа

Как известно, род у существительных в русском языке проявляется следующим образом: 1) согласованием с полными и краткими прилагательными и причастиями (*большой завод, большая фабрика, большое дело*), с глаголами прошедшего времени в изъявительном и сослагательном наклонении (*был завод, была фабрика, было поле*); 2) заменой существительных местоимениями 3-го лица (*завод — он, фабрика — она, поле — оно*).

Среди одушевленных существительных родовая принадлежность может иметь определенное содержание: например, слова

мужского рода *тигр, петух, баран* обозначают самцов, а *тигрица, курица, овца* — слова женского рода, называющие самок. Но род у одушевленных существительных может и не иметь такого значения: словами мужского рода *леопард, дельфин, паук, коршун* называют и самцов, и самок, а *куропатка, кукушка, рыба, лягушка* — слова женского рода — также обозначают особей обоего пола.

Для неодушевленных существительных принадлежность к мужскому, женскому или среднему роду не связана с содержанием: так, слово *дом* — мужского рода, а *изба* — женского; *фабрика* — женского, а *завод* — мужского; *город* — мужского, *деревня* — женского, а *село* — среднего.

Однако содержание, относящееся к роду, у неодушевленных существительных в русском языке может появляться в художественных текстах. Метафорическое переосмысление значения рода встречаем у Н. В. Гоголя в «Петербургских заметках 1836 года»: «Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не поднимаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет...»; «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве всё цевесты, в Петербурге всё женихи».

Тот же прием использует и М. Е. Салтыков-Щедрин в сказке «Добродетели и пороки»: «Произошло между ними, в ту пору, существо среднего рода: ни рак, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произошло, выровнялось и расцвело. И было этому межеумку имя тоже среднего рода: Л и ц е м е р н е...».

Этим же приемом пользуются и современные авторы, например Феликс Кривин в басне «Форточка» пишет: «Привыкший к легким победам Мяч небрежно подлетел к Форточке, и встреча состоялась чуточку раньше, чем успел прибежать дворник... Потом все ругали Мяч и жалели Форточку, у которой таким нелепым образом была разбита жизнь. А на следующий день Мяч опять летал по двору, и другая ветреная Форточка громко хлопала ему и с нетерпением ждала встречи».

Однако, как показывает В. В. Виноградов в книге «Русский язык», привнесение в обычный (не художественный) текст содержательного значения для рода неодушевленных существительных приводит к курьезам. Так, А. С. Шишков описал факт, весьма ярко характеризующий царскую цензуру начала XIX века. Один из цензоров «не хотел пропустить выражения *нагая истина*, сказывая, что *истина* женского рода, и потому непристойно ей выходить в свет нагой» (с. 62).

В русском языке есть существительные, способные обладать двумя значениями рода — мужским и женским: *невежа, забияка,*

соня. Если данное слово характеризует лицо женского пола, то оно женского рода: «Маша была ужасная невежа. Она...»; если лицо мужского пола, то род мужской: «Петя был невообразимый забияка. Он...». Это существительные общего рода.

В последние десятилетия к подобным существительным в русском языке активно тяготеют такие слова, как *доктор, врач, директор, секретарь, хирург, агроном* и т. д. Обозначая лиц женского пола, они легко сочетаются с глаголами прошедшего времени женского рода (*доктор пришла, директор сказала*), легко заменяются местоимением-существительным *она*. Однако в отличие от слов типа *невежа* они с трудом соединяются с определениями женского рода: употребления *хорошая доктор* или *уважаемая директор* по-русски неудачны даже при обозначении лиц женского пола (список таких слов и их нормативная квалификация даны в книге Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи». М., 1976, с. 96—99).

Эти изменения в структуре рода существительных связаны с условиями жизни людей — активным участием женщин в производственной и общественной жизни, освоением ими «мужских» профессий, занятием женщинами «мужских» должностей. Язык располагал для обозначения этих должностей и профессий лишь существительными мужского рода. Возникло противоречие между явлениями жизни и средствами языка: женщина имеет профессию или должность, а название указывает будто бы на мужской пол, поскольку является существительным мужского рода. В этих условиях языковые привычки должны были непременно изменяться. Красноречиво говорит о создавшемся положении следующий отрывок: «Жена Ваша, она тоже геологом работает? — Да, — улыбнулся Александр, — настоящая геологиня! — Как Вы это сказали, геологиня? — переспросил Фомин. — Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее. — Почему правильнее? — Да потому, что в царское время у женщин не было профессий, и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам доставались уменьшительные, я считаю, полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, а получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли» (И. Ефремов. Юрта Вброна).

Автор данного отрывка полагал, что для обозначения по профессии или должности лиц женского пола следует создавать новые или активизировать старые слова: *шоферша, геологиня, критикесса,*

директриса и т. д. Однако весьма распространенным приемом решения этой ситуации оказался намечающийся переход слов мужского рода, обозначающих профессии и должности, в общий род.

В русском языке грамматические сведения о слове, как правило, заключены в нем самом. Так, форма *столом* выражает и принадлежность к существительным, и мужской род, и единственное число, и творительный падеж. Если слово оканчивается в именительном падеже единственного числа на *-а* или *-я*, то оно, вероятнее всего, женского рода (*земля, вода*), но может принадлежать и к мужскому (*мужчина, Ваня*) или к общему (*забияка, соня*). Большинство существительных, оканчивающихся на твердый согласный (не шипящий), относится к мужскому роду: *топор, стол, город* и т. п.

Отвечает



**ХАРАКТЕРИСТИКА
ИВАНОВА
ИЛИ НА ИВАНОВА?
АТТЕСТАЦИЯ ИВАНОВА
ИЛИ НА ИВАНОВА?
ЗАЯВЛЕНИЕ ИВАНОВА
ИЛИ ОТ ИВАНОВА?**

Эти вопросы достаточно часто возникают не только у людей, непосредственно заня-

тых делом производством и составляющих тексты официальных документов и деловых бумаг. Нас спрашивают, как правильно — с предлогом или без предлога: *характеристика кого-либо* или *на кого-либо*? *аттестация кого-либо* или *на кого-либо*? *заявление кого-либо* или *от кого-либо*.

Существительное *характеристика* в современном русском литературном языке имеет несколько значений, основными из которых являются два: 1) 'описание характерных отличительных качеств, свойств, черт кого-чего-нибудь' (*характеристика эпохи, характеристика человека*) и 2) 'официальный документ с отзывом о служебной, общественной и т. п. деятельности кого-нибудь' (*характеристика с места работы*). В первом из указанных значений оно управляет зависимым словом в родительном падеже без предлога, Та-

Изменение родовой принадлежности слов типа *доктор* подрывает эту закономерность, поскольку именно так оформлена основа у многих слов, тяготеющих теперь к общему роду. Если раньше слова общего рода имели лишь один тип склонения, то с изменением родовой принадлежности слов типа *доктор* они имеют два типа.

Таким образом, по внешнему виду слова стало труднее определить род существительного, увеличилась степень неопределенности. Более значимыми теперь оказываются слова, согласованные с существительным. Иначе говоря, уменьшилась информация о роде существительного, данная самим словом, и возросла ценность сведений, предоставляемых согласованными словами.

И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ

кое же управление было свойственно существительному *характеристика* в традиции русской литературной речи и в его втором значении — при употреблении в качестве названия документа определенного рода: «Для этого ему [отделенному воспитателю] и выдавались... несколько десятков синих с желтыми корешками тетрадок, на обложке которых печатным шрифтом было обозначено:

Нравственная характеристика воспитанника N-ской военной гимназии...» [А. Куприн. На переломе (Кадеты)].

Однако впоследствии, когда данное значение оформилось как вполне самостоятельное, управление слова *характеристика* стало испытывать колебания: наряду с традиционно-нормативным беспредложным вариантом (*характеристика служащего*) получила широкое

распространение конструкция с предлогом *на*: *характеристика на служащего*. Появился этот вариант в официально-деловой речи под влиянием сочетаний, также весьма употребительных в сфере ведения дел и официальной переписки, — *дело, документация, жалоба, представление на кого-что-либо: завести дело на нового сотрудника; представить документацию на прибор; подписать представление на офицера*.

В последнее время конструкция *характеристика на кого-либо* отличается высокой активностью не только в официально-деловой речи, но и выходит за пределы первоначальной сферы своего распространения. «Соперничество» между вариантами охватывает сегодня, помимо собственно «канцелярского» стиля, и различные жанровые разновидности языка прессы, разговор-

ной и художественной речи: «Партком колхоза представил для персонального дела *характеристику* Г. Хидарова» («Правда», 23 января 1978); «Через четверть часа *характеристика* на Тулякова была готова» (Крон. Дом и корабль); «Но *характеристики* на ребят были положительные: они неплохо учились, были дисциплинированы, их уважали товарищи» («Человек и закон», 1976, № 3).

Какую же нормативную оценку следует дать конкурирующим конструкциям? Бесспорно, что традиционный вариант управления *характеристикой* кого-либо остается в пределах литературной нормы и благодаря своей нейтральности не имеет никаких ограничений в употреблении. В наши дни нельзя признать ненормативным и предложное сочетание *характеристика на кого-либо*. Дело здесь не только в широкой распространенности и употребительности данной конструкции (хотя этот фактор имеет большое значение), но и в том, что она обладает известным преимуществом перед первым вариантом. При ее использовании не может возникнуть той двусмысленности, которая вполне возможна в некоторых случаях употребления беспредложного сочетания. *Характеристика ученика* — описание его отличительных свойств или «документ»? *Рассмотреть*

характеристику директора завода — характеристику, подписанную директором завода или данную директору завода? Правда, возможность подобной двусмысленности существует скорее только теоретически, так как из контекста, как правило, понятно, о чем идет речь.

В современных нормативных словарях и пособиях отсутствует единая оценка сочетания *характеристика на кого-либо*. Так, словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973) не рекомендует «говорить и писать *характеристика на кого-либо*». В «Словаре трудностей русского языка» (М., 1976) приведены оба варианта, однако оборот с предлогом *на* сопровождается ограничительной пометой «канцелярское». Наблюдения над реальным употреблением этих конструкций показывают, что *характеристика на кого-либо* тяготеет, с одной стороны, к официально-деловой, а с другой — к разговорной речи. Исходя из этого, а также из рекомендаций словарей, следует признать, по-видимому, что, будучи в наши дни вполне нормативной, *характеристика на кого-либо* в иерархической структуре литературной нормы располагается все-таки на ступень ниже традиционного варианта управления. Поэтому, когда, обращаясь в «Службу

языка», ждут однозначного ответа на заданный вопрос, мы рекомендуем использовать в письменной и устной речи нейтральное сочетание *характеристика кого-либо*.

Сказанное можно полностью отнести и к существительному *аттестация* в значении 'документ, представляющий собой отзыв, характеристику, заключение, рекомендацию, данные кому-либо'. Варианты типа *аттестация сотрудника Иванова* — *аттестация на сотрудника Иванова* не противоречат норме русского литературного языка, но первый из них является более нейтральным и поэтому, очевидно, более предпочтительным.

Существительное *заявление* в значении 'документ, содержащий предложение, жалобу или просьбу, составленный по установленной форме и подаваемый на имя лица или учреждения' управляет зависимым словом — наименованием автора документа в форме родительного падежа без предлога: *рассмотреть заявление рабочего, ответить на заявление жителей дома* и т. д. Однако на практике непосредственно в текстах заявлений,

докладных записок, счетов и других документов часто используется предложная конструкция *от кого-либо заявление* (счет и т. п.): «В комитет комсомола локомотивного депо от электрослесаря 5-го разряда А. П. Иванова; копия в отдел кадров. Заявление» (В. Климушкин. Задумчивый Иванов).

Появление предлога *от* в данном случае объясняется тем, что зависимое слово (наименование заявителя) по установленной форме стоит перед стержневым словом сочетания (названием документа: *Иванова Заявление*). Поэтому вся конструкция часто не воспринимается пишущими как одно предложение. Оказывают влияние и построения типа *получить заявление от кого-либо, поступило заявление от кого-либо* и т. д. Здесь слово, обозначающее автора документа, относится не к существительному, а к глаголу: *получить от кого-либо*. В большинстве пособий по деловой речи, а также в лингвистических работах (см., например, «Русская речь», 1968, № 3), использование конструкции с предлогом *от* признается вполне допустимым.

С. И. ВИНОГРАДОВ

АТОМ и его родственники

Словарный состав русского языка постоянно меняется: одни слова устаревают и уходят в пассивный запас, на смену им приходят новые вместе с новыми реалиями (предметами, вещами) и понятиями. В других случаях старое, известное слово, активно входит в речевой оборот, «обрастает» производными словами, и вот уже в языке живет целое гнездо слов, каждое из которых способно давать новые производные. И, наконец, возможен еще один путь обновления лексической системы — развитие полисемии: слово, прежде однозначное, образует новые значения и оттенки значений. Обычно такое развитие характеризует актуальную лексику, связанную с общественно значимыми и важными явлениями и процессами. Чем актуальнее реалья, обозначаемая словом, чем большую роль она играет в жизни общества, тем стремительнее протекают процессы развития этого слова.

Слово *атом*, известное с древних времен, было зафиксировано в русской лексикографии еще в 1731 году (Вейсманн. Немецко-латинский и русский лексикон) и на протяжении двух столетий было узко специальным термином. В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» (т. 1, 1948) слово *атом* определяется с пометой «физическое» следующим образом: «Наименьшее количество простого вещества (химического элемента), встречающееся в молекулах этого вещества и в химических соединениях и могущее распадаться на атом более легкого элемента и остаточные частицы (электроны, нейтроны, протоны и др.); до начала XX в. — мельчайшая частица вещества, считавшаяся неделимой. *Ядро атома. Оболочка атома; атомный и атомный* — относящийся к атому, свойственный ему. *Атомный вес. Атомная теплота. Атомное ядро. Атомная бомба.* При этом, единственном значении слова *атом* приведен пример, который дается как оттенок с пометой «переносное» без толкования: *атомная дипломатия.*

Данная обобщенная разработка отражала сведения об атоме, которыми располагала наука в то время. Однако за 30 лет, прошедшие со времени подготовки материалов I тома Словаря (1948 год), атом

перестает быть достоянием теоретической физики, выходит далеко за ее пределы, в сферы, близкие всем людям. Это круто изменило и жизнь самого слова: появляются новые значения, новые производные слова, образуются сложные слова, становятся возможными даже смысловые стяжения — свидетельство того, что слово активно функционирует в обиходной речи.

Прежде всего само понятие *атом* получило сейчас достаточную определенность: это мельчайшая частица вещества, являющаяся носителем его свойств. Вот примеры, из которых можно получить более детальные сведения о строении и свойствах атома: «По своему строению атомы... напоминают сверхмикроскопических размеров солнечные системы с центральным солнцем — ядром и движущимися вокруг него планетами — электронами» (Ферсман. Занимательная геохимия); «Атом может в совокупности с сотнями и тысячами других построить гигантскую молекулу. Но он останется носителем свойств того же самого элемента» (Власов и Трифонов. Занимательно о химии).

При первом значении слова *атом* можно выделить оттенок на основании метонимического переноса (наименования по смежности) — об атомной энергии: «На службу человеку поставлен атом» (Закруткин. Лик земли). Кроме того, на основе употреблений, имевших место еще в XIX веке и ставших теперь регулярными, формируется метафорическое, переносное значение (наименование по сходству) — «небольшая частица, составная часть чего-л.»: «[Александр] сидел в кабинете, дома, один, упиваясь блаженством, анализируя, разлагая его на бесконечно малые атомы» (А. Гончаров. Обыкновенная история); «[Солдат] уже был... маленькой частицей, атомом этой яростной борьбы» (С. Смирнов. Брестская крепость).

Еще более сложная, разветвленная структура обнаруживается в слове *атомный* (в том виде, в каком оно функционирует сейчас). Основное значение — 1. Относящийся к атому — дает возможность выделить два оттенка: 1) связанный с исследованием атома (*атомная физика, атомная проблема*); 2) характеризующийся всесторонним изучением атома и широким практическим использованием знаний о нем (*атомный век; атомная эпоха*). Далее Картоотека Словарного сектора Института языкознания АН СССР (Ленинград) представляет обширный материал, который позволяет вычленить в прилагательном *атомный*, кроме названного, еще три значения: 1. Относящийся к распаду ядра атома; то же, что *ядер-*

ный. *Атомная энергия*; 2. Основанный на использовании ядерной энергии. *Атомная электростанция. Атомный ледокол. Атомная бомба. Атомная промышленность. Атомное оружие*; 3. Относящийся к оружию, действующему при помощи ядерной энергии; связанный с его применением. *Атомный взрыв. Атомные войска.*

В последнем случае намечается тенденция к сочетанию прилагательного *атомный* не только с конкретными, но и с отвлеченными существительными: *атомная угроза, атомный шантаж* и т. п. «Моя страна такой секрет [атомной бомбы] Давным-давно, ей-богу, знает До тонкости! Но белый свет От атомных и прочих бед Она избавить предлагает» (Жаров. Письмо за океан); «Безответственными... являются попытки некоторых политических и государственных деятелей прибегать к атомному шантажу, бравировать мнимой смелостью перед лицом термоядерной катастрофы» (А. М. Румянцев. Проблемы современной науки об обществе).

Язык использует разные средства для наименования новых вещей, явлений, процессов: приспособливает уже имеющиеся слова в переносных значениях, заимствует из других языков или образует новые по имеющимся моделям. Этот, последний способ и дает обилие производных слов. В первом издании 17-томного Словаря при слове *атом* шесть производных слов: *атомизм, атомистика, атомистический, атомический, атомность, атомный*. В материалах Картотеки Словарного сектора зафиксированы образования последних десятилетий: *атомарный, атомарность, атомизация, атомизировать, атомификация, атомист, атомник, атомщик* и т. д. Разумеется, многие из них еще должны пройти проверку временем, однако уже сейчас не вызывает сомнения активность таких слов, как *атомник* и *атомщик*. *Атомник* — специалист в области атомной физики, атомной энергии: «Курчатов сделался главою наших атомников» (Данин. Неизбежность странного мира). *Атомщик* — 1. Тот же, что *атомник. Исследования атомщиков*; 2. Агрессор, стремящийся использовать атомное оружие: «Никогда не забыть мне... той ясной надежды, которая наперекор взбесившимся атомщикам заставляла работать, держать себя в узде разума и спокойствия» (Караваева. Вечнозеленые листья).

Оба слова могут употребляться в сложении, что также является свидетельством их активности в языке: «[Резерфорд] создал мировую школу физиков-атомников» (Данин. Старт гения); «Миллионы простых людей-тружеников ставят свои подписи под обращением, протестуя против атомщиков-поджигателей, защищая жизнь своих детей» (Закруткин. Лик земли).

Если словарь содержит слово со значением 'учение', то по законам лексической системы необходимо дать слово со значением

‘сторонник, последователь этого учения’ (ср. *марксизм — марксист, идеализм — идеалист* и т. п.): *атомист* — сторонник атомизма, атомистики: «Убежденный атомист, русский ученый М. Г. Павлов высказал догадку о том, как атомы объединяются в молекулы» (Мезенцев. Вселенная и атом); [*атомизм* — материалистическое учение, согласно которому материя состоит из чрезвычайно малых отдельных частиц; *атомистика* (филос.) — то же, что *атомизм*].

Кроме производных, активно функционирующее слово всегда образует сложные слова: *атомно-электронный, атомно-водородный, атомно-ракетный* и т. п. При этом нередко для нового наименования используется старая модель: *атомовоз* (ср. *паровоз*), *атомоход* (ср. *пароход*), *атомостроитель* (ср. *кораблестроитель*).

Наконец, высшим проявлением активности слова *атом* стал тот факт, что оно уже включилось в систему разговорного словообразования. Кому не известны так называемые стяжения, широко употребительные в непринужденной разговорной речи и легко образующиеся по готовой модели: *попутная машина — попутка, «Комсомольская правда» — «Комсомолка, овсяная крупа — овсянка, зачетная книжка — зачетка, похоронное известие — похоронка* и т. д. По этой модели из словосочетания *атомная электростанция* возникло слово *атомка*: «Тепловая мощность „атомки“ более чем в шесть раз превышает возможность всех поселковых котельных» («Правда», 27 декабря 1972); «В конце этого года „атомка“ должна дать ток» (Б. Васильев. Длинная дорога в Уэлен); «[Из порта] идут грузы для „атомки“, как запросто называют в Билибино станцию» («Правда», 25 января 1972). Это слово пока не выходит за пределы узкой речевой среды (работников атомной электростанции и журналистов), оставаясь за пределами литературного языка и словаря, но само его образование говорит о многом.

Итак, за последние десятилетия наблюдаются существенные изменения в значении и словообразовании слова *атом*. Эти изменения идут по разным направлениям: 1) появляются новые сочетания, новые употребления, на базе которых формируются новые значения; 2) появляются новые производные слова; 3) образуются новые сложные слова; 4) в разговорной речи словосочетания превращаются в стяжения; 5) отдельные значения получают способность к метафорическим и метонимическим переносам.

Эти явления показывают зависимость языковых процессов от жизни общества: слово, обозначающее актуальное, общественно значимое понятие, стремительно развивается, живет в языке активной, многоплановой жизнью.

Г. Н. СКЛЯРЕВСКАЯ
Ленинград

А Т А К А



Военный термин *атака* заимствован русским языком в Петровскую эпоху из французского языка (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка) или из немецкого (М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). В «Этимологическом словаре русского языка» Н. М. Шанского отмечено, что это слово «фиксируется с 1702 г. (Письма и бумаги Петра Великого, II, 119). Нем. *Attacke* восходит к франц. *attaque*...». Первая регистрация в словаре относится ко II половине XVIII века: «*Атака* — нападение, наступление...» (см. Словарь И. Нордстета. СПб., 1780).

Слово *атака* осваивается русским языком в терминологическом значении и получает широкое распространение. Известно, что термины обладают специфическими особенностями, однако развиваются они по тем же лингвистическим законам, что и весь словарный состав русского языка. Уже с 20-х годов XVIII века *атака* начинает выходить за пределы специальной, военной сферы употребления и получает раз-

ные значения (см.: Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Л., 1972, с. 281): «нападение на кого-либо (с бранью, угрозами)»; «осуждение, критика кого-либо, чего-либо»; «настойчивое требование чего-либо»; «попытка добиться любви, склонности». Например: «Жестокими словами атаковал» (Московские Ведомости, 1717); «Знатные господа смотреть приступили его на нас атаку» (Записки кн. Я. П. Шаховского, 1705—1777); «У г. Искупателя продается сочиненная им в пользу юношества книжка под заглавием „Атака сердца кокеткина“» (Трутенъ, 1769); «Сооружал он сей план атаки над Бригиттою» (Повесть о Томасе Иоче-се или Найденыш. СПб., 1770—1771).

Происходит детерминализация слова, то есть выход за пределы своей терминологической системы, связанный со смысловыми изменениями в структуре самого термина.

Появлению в слове *атака* новых значений способствовали разные причины: 1) содержание слова определило его необходимость для общелитературного языка; 2) экспрессивность слов военной лексики в нетерминологическом, переносном значении; 3) краткость слова; 4) способность вступать в сочетание с другими словами; 5) словообразовательная

активность, а также социальная причина: общеизвестность слова для народа России, перенесшего тяготы не одной войны. В процессе смысловых изменений военного термина *атака* можно выделить следующие ступени: военный термин — единичные переносные, метафорические употребления (I) — широко употребительная метафора (II) — общеупотребительное слово (III).

Слово *атака* в переносном значении стало экспрессивно-стилистическим средством художественной речи. Приведем примеры, встречающиеся у авторов разных эпох и различных литературных стилей: «Владимир Лукьянович, мечтавший завладеть именем княжны, начертил себе предварительно полный план атаки» (В. Ф. Одоевский. Княжна Зизи); «Ряд этих частных нападений в 1829 году завершился общею атакою в статье „Все сестрам по серьгам“» (Н. Чернышевский. Современник); «Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно» (И. С. Тургенев. Дворянское гнездо); «Нашелся, наконец, смелый человек, решившийся произвести прямую атаку на самый центр земского морального влияния» (В. Г. Короленко. Третий элемент); «Слово в строке стиха и солдат в строю — это одно и то же. Сонет — это взвод слов, имеющий целью атаку вашего сердца» (М. Горький. Мои ин-

тервью); «Выдержать без страха атаку тьмы Над родимым прахом клянемся мы» (Н. Асеев. Красная присяга); «Сезон был потерян, Москва прекратила телеграфные атаки, сменив ярость любви на равнодушие» (К. Федин. Первые радости).

Переносное значение слова *атака* впервые было зафиксировано в 1935 году «Толковым словарем русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова: действия, направленные против кого-нибудь или для достижения какой-нибудь цели (разг., газет.)

Толковые словари современного русского литературного языка регистрируют следующие употребления этого слова: военное — стремительное нападение войск на противника; переносное \approx действие, направленное против кого-нибудь или для достижения какой-нибудь цели (см.: 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» и С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1972). Однако функционирование слова *атака* в современном русском языке не ограничивается указанными значениями, оно употребляется в спорте, медицине, музыке и технике.

К концу XIX века слово *атака* в переносном значении было довольно широко распространено, его новые употребления развивались на сходстве общих черт военного

дела и спорта, таких, как: ловкость, смелость, мужество, активные стремительные действия, тактика и стратегия. Слово *атака* было легко включено в складывающуюся терминологическую систему спорта; оно получило определение, основанное на переносном значении: 'быстрое и решительное наступление спортсмена или спортивной команды с целью добиться победы в состязании'. Приведем примеры, в которых слово встречается в форме *атака*: «В настоящее время прежняя дикая игра футбол превратилась в своего рода науку: это игра с атаками, сшибками, обходами, с застрельщиками и с резервами, одним словом, война со своею стратегией и тактикой» (Е. М. Дементьев. Английские игры на открытом воздухе. М., 1891); «Так как делать полет очень утомительно, то этот вид должен скорей применяться при атаке, чем при защите... он дает много шансов для выигрыша очка» (Подвижные игры. Лаун-теннис. Итальянская лапта. Фут-баль. Лапта-бубен. М., 1898).

Приведем примеры употребления спортивного термина *атака*: «Нападающие ведут главную атаку» (М. Волков. Футбол. Английская игра в мяч. СПб.—М., 1914); «Атака с финтами есть атака с показанием угрозы удара» (Полный справочник по физкультуре.

Л., 1925); «Если игрок ведет мяч для того, чтобы приблизиться к воротам и забить гол,— это прямая атака ворот» (Б. Аркадьев. Тактика футбольной игры. М., 1962); «Иногда трудно предсказать, у кого из игроков возникнут условия для удара и кто возьмет на себя ответственность произвести удар по воротам, ибо этот завершающий акт является вершиной атаки, развиваемой всем коллективом» (Ф. К. Агашин. Биомеханика ударных движений. М., 1977).

Таким образом, схему освоения русским языком слова *атака*, приведенную в начале статьи, можно продолжить: общеупотребительное слово в переносном значении (III ступень) — термин спорта.

В современном русском языке *атака* является и термином медицины, который заимствован в конце XVIII века из французского языка (*attaque* — припадок, приступ; удар, истерика) и восходит к итальянскому. «Атаки, или приступы, ревматизма возникают как проявление активного... компонента при повышенной реактивности организма больного ребенка. Некоторые дети переносят только одну атаку, другие же — две, три, а в ряде случаев и 4—5 атак... Провоцирующим фактором для возникновения ревматической атаки нередко бывает ангина или обострение хронического тонзиллита» (Большая меди-

цинская энциклопедия. М., 1962). Этот медицинский термин встречается и в языке художественных произведений: «... а не можете, ну, сидите дома и скажите, что у вас нервная атака» (В. В. Слепцов. Трудное время).

Слово *атака* употребляется также и как музыкальный термин: «1) обозначение в нотах, указывающее на то, что изменение темпа внутри музыкальной пьесы должно осуществляться внезапно, без паузы; 2) переход голосового аппарата человека от дыхательного состояния к певческому или речевому.; 3) внезапное напряжение рук пианиста при исполнении акцентированного аккорда» (Музыкальная энциклопедия. М., 1973). Этот термин заимствован русским языком примерно в I половине XIX века, впервые его фиксирует «Энциклопедический лексикон» (1835—1841).

Приведем пример из художественной литературы: «Четко направляя первую атаку, которая должна придать фразе нужную характерность, он помогал так определенно форсировать высоту звука, что, не обладая абсолютным слухом, я многие фразы начинал в должной тональности» (С. Ю. Левик. Записки оперного певца).

Слово *атака* выступает в составном наименовании *угол атаки*, которое употребляется

в технике: 1) в аэродинамике — угол между какой-либо условной линией и направлением скорости встречного потока воздуха; 2) в сельскохозяйственной технике — угол между рабочими органами дискового сельскохозяйственного орудия и направлением его движения (см.: Политехнический словарь. М., 1976). Впервые термин *угол атаки* использовал в своих трудах Н. Е. Жуковский: «Если аэроплан от перемещения руля высоты увеличивает угол атаки, то он переходит на подъем» (Н. Е. Жуковский. Полное собрание сочинений. Т. V. М., 1937).

■ Таким образом, слово *атака* функционирует в современном русском литературном языке в качестве терминов военного дела, медицины, музыки, техники. На основе военного термина появилось и со временем укрепилось переносное значение, от которого образовался спортивный термин. Такие смысловые преобразования слова *атака* объясняются, с одной стороны, его популярностью, актуальностью обозначаемого им явления, с другой — необходимостью для общелитературного языка, фразеологичностью слова, словообразовательной активностью, тенденцией языка к экспрессивности и к краткости.

И. М. ЮРКОВСКИЙ
Кишинев



ЯЗЫК И СТИЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЯ ИОАННА ЛУКЬЯНОВА» (1701—1703)

В начале XVIII века московский священник Иоанн Лукьянов предпринял путешествие в Иерусалим. Как предполагал П. И. Мельников-Печерский, цель поездки И. Лукьянова на Восток — узнать о положении дел в греческой церкви и попытаться приобрести собственного епископа из заграничных архиереев.

Вместе со своими спутниками Лукой и Григорием Лукьянов начинает свой путь из Москвы через Калугу, Орел, Батурино и Нежин в Киев. Размытые дождями дороги, разлившиеся реки, пронизывающие ночные заморозки, ночевки в поле изматывали путешественников. Наконец, засверкали на горизонте золоченые купола киевских соборов, засинел Днепр, и понял И. Лукьянов, что «в Московском и Российском царстве такого града подобного красотою вряд сыскать».

Но вот остались позади пограничные русские земли. Едут паломники по разоренным войнами Валахии и Молдавии: «И бысть наше шествие зело печально и скорбно; переправы лихия, горы высокия; все степь голая; ехали 5 дней, не наехали на прутинку, чем лошадь погнать». Из города Галаца они поплыли вниз по Ду-

наю к морю. Полтора дня потребовалось кораблю, чтоб достичь стен Царьграда. Выгодно продав свои товары, путешественники поплыли в Египет, а оттуда в Иерусалим. Приютившись после долгих мытарств в Иерусалимском монастыре, И. Лукьянов со своими спутниками посетил русских паломников.

Осмотрев христианские святыни, церкви, монастыри, город и его окрестности, подробнейшим образом все описав, И. Лукьянов отправился в обратный путь через Египет в Царьград, где он встретился со своими земляками-калужскими купцами и вместе с ними отплыл в Галац, а оттуда по суше в Киев и Нежин, куда прибыл после Успенской ярмарки, то есть после 15 августа 1703 года.

Наблюдения и впечатления от этой поездки автор положил в основу произведения «Путешествие Иоанна Лукьянова». В первой части он рассказывает о цели своего странствования, во второй — о дороге в Иерусалим, в третьей описываются святыни Иерусалима, в четвертой — дорога домой. В зависимости от объекта изображения меняется и стилистическая манера автора. В описании Иерусалима господствуют веками сложившиеся стилистические и языковые нормы древнерусских хождений. Вступление Лукьянов почти полностью заимствует у русского путешественника XII века игумена Даниила, лишь заменяя устаревшие слова и обороты современными: «Се яз недостойный и грешный старец Иоанн и всех хуже и смиренный грехи моими многими, недоволен о всяком деле блазе, понужден мыслию своею и нетерпением, восхотех видети святыи град Иерусалим и землю обетованную...».

Кроме «Хождения игумена Даниила» И. Лукьянов хорошо знал другие произведения этого жанра, в частности, «Хождение Игнатия Смольнянина в Царьград» (конец XIV в.), откуда он заимствовал пейзажные зарисовки среднего течения Дона для своего описания разоренного Крымской ордой юга Украины: «И бысть нам путное шествие печально и уныливо, бяше бо видети ни града, ни села; аще бо и быша прежде сего грады, красны и нарочиты селы видением — но ныне точию пусто место и не населяемо, не бе видети человека. Пустыня велия... и зверей множество: козы дикия, и волцы, лоси, медведи; ныне же все завоевано и разорено от крымцев!» Знаком И. Лукьянов и с «Хождением Трифона Коробейникова» (XVI в.). Рассказывая о гробе господнем, он указывает: «а писано в Коробейниковом страннике, что де этот гроб сделала царица Елена».

По-видимому, И. Лукьянов читал «Повесть Нестора-Искандера о взятии Царьграда» (XV в.), содержащую пророчество Льва Премудрого о «русом народе», которому суждено освободить Царьград из-под власти турок. И когда на трапезе в Иерусалимском монастыре греческие монахи начали упрекать Лукьянова за перемирие с

Турцией: «так де писано, что Московскому царю освободить нас и Царь-град взять», он, ссылаясь на «Повесть» Нестора-Искандера, отвечал: «хощь и писано, да имя ему не писано, кто он будет и кто возьмет Царь-град».

В некоторых случаях И. Лукьянов не цитирует памятники древнерусской литературы, а просто ссылается на них. Не решаясь рассказывать о внутреннем убранстве Софийского собора в Царьграде, он пишет: «А какова та церковь узоричиста, ино мы ея описание zde внесем Иустиниана царя, как он строил, все роспись покажет; тут читай, да всяк увесть». Под «росписью Иустиниана царя» он подразумевает «Сказание о создании великия божия церкви Софии в Константинополе», известное на Руси по спискам еще с XVI века.

В текст своего «Путешествия» И. Лукьянов вводит два анонимных переводных произведения XVII века — «Сказание о названиях Царьграда» и «Сказание о воротах Царьграда».

И. Лукьянов точно, правдиво, красочно описал, что «видех очима своима грешныма», не допускал выдумки, «не возносяся, не величаяся путем своим», не боялся простоты стиля, не спешил «вборзе творити» свое сочинение, но «потиху и с продолжением», то есть типичным стилем и слогом древнерусских хождений.

Известный исследователь хождений Н. И. Прокофьев в статье «Язык и жанр. Об особенностях языка древнерусских хождений» («Русская речь», 1971, № 2) пишет об общем логическом приеме описания у древнерусских паломников — нанизывании одного более объемного предмета на цепь следующих за ним предметов с уменьшающейся объемностью. Этим приемом воспользовался И. Лукьянов: «один столп из единого камня вытесан, под ним лежит положен камень, а на нем положены плиты медныя, а на плитах тот поставлен столп».

Автор широко использовал характерные для жанра хождений сравнения иноземных предметов с русскими: «Нил река будет с Волгу шириною»; «Царь-град поменьше Москвы»; «Площадь великая величиною будет с Красную площадь»; «ров глубиною подобно как у нас на Москве у Спасских ворот у Кремля» и т. п. Часто в хождениях встречался оборот «да и описать невозможно», употреблявшийся при описании «красоты безмерной церковной». Лукьянов, рассказывая о Константинопольской Софии, восклицает: «Мы собою об ней не хоцем писать для того, чтоб не погрешить описанием». За 300 лет до Лукьянова другой русский паломник, дьяк Александр, «приходихом куплею в Царьград», увидев Софийский собор, также воскликнул: «Величества и красоты ея не мощно исповедати».

И. Лукьянов воспользовался традиционным сравнением древнерусской литературы «аки жив» для выражения восхищения мас-

терством русских умельцев, изваявших в Киево-Печерском монастыре статую князя Константина Острожского: «И тут же видехом в той же церкви изваян из камене князь Константин Острожский; лежит на боку в латах, изображен как будто живой».

Описывая церковные святыни Царьграда и Иерусалима, монастыри, церкви, храмы, И. Лукьянов полностью находится во власти древнерусских традиций. В импровизированной благодарственной молитве И. Лукьянов использует даже форму перфекта и местного падежа. И хотя они, как и формы аориста, давно утратились в языке, паломник широко использует их для придания языку торжественности и книжности.

Лукьянов следует за игуменом Даниилом, провозгласившим «писать не хитро, но просто», поэтому господствующие синтаксические конструкции в его хождении — простые распространенные предложения: «Пришли к нам турки со свечами; ночь была зело темна; и стали наших лошадей брать под себя; а я не даю; турчин, выневши нож, да замахнулся на Луку, а он миленький и побежал».

По-иному, бойким московским говорком описывает И. Лукьянов свой путь в Иерусалим и обратно, встреченных людей, события, свидетелем и участником которых он был. На пристани города Сенбяки жены матросов «всякий припас годовой привезли да выгружали всю семь дней и тоскали на себе на гору; чудное дело, каковы их жены сильны; одна баба пшеницы полосминки в мешку несет в городок; а такая нужда на гору итти: мы бывало порожены, то пятаю (пять раз) отдохнешь на гору идучи, а оне без отдышки да еще босы, а такая острая камни, что ножи торчат; мы подивились тем бабам: богатыри!».

В этих описаниях чувствуется сильное влияние стиля «Жития» и посланий протопопа Аввакума. [Существует мнение, что у Аввакума не было ближайших литературных последователей, если не считать «Жития» его соратника Епифания, трактата против саможжения инока Евфросина и, как нам представляется, «Путешествия» И. Лукьянова.] В «Житии» Аввакум пишет о своем стиле: «Не позазрите просторечию моему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обыкох речи красить». В его языке ярко отражается стилистическое смешение народно-разговорной лексики и книжно-литературных форм. Это же наблюдается и в сочинении Лукьянова. У Аввакума нет резкой границы в употреблении книжной речи и просторечия, и Лукьянов часто пользуется просторечными и бранными словами: «У них много безместных митрополитов и попов — так таскаются по базару, живут в Царе-граде да собак бьют, ходя по улицам», — так он пишет о греческом духовенстве.

Константинопольскому патриарху, потребовавшему подарок, он «от горести лопонул: никак мол он пьян ваш патриарх-то? Не с ума ли он спел? Ведает ли он и сам, что говорит? Знать мол ему есть нечего? Где было ему нас странных призреть, а он и последнее с нас хочет содрать! У нашего мол патриарха и придверники так искуснее того просят! А то едакому старому шетуну как не сором просить-то подарков!»).

Как и у Аввакума, в произведении Лукьянова широко представлена категория уменьшительно-ласкательных слов. Они обозначают предметы или явления, так или иначе помогавшие ему в трудном пути: игумен «грамотки в свои монастыри давал»; на трапезе «медку было довольно»; в дорогу «Галактионушка Мосякин дал маслица крынку, а Лазарь нам рыбки пожаловал». Лица, о которых упоминает Лукьянов, снабжены ласкательно-уменьшительными именами Галактионушка, Корнилюшка (ср. у Аввакума: Афонасьюшко, Терентьюшко). Изредка в уменьшительной форме встречается ироническая окраска: «паромишко плохой». Очень часто рядом с уменьшительными формами в обоих произведениях появляется экспрессивно-эмоциональный эпитет милый обычно в форме обособленного определения: «перевощики миленькие сведали»; «зело миленькой добр был». Особый эмоциональный вес приобретает этот эпитет при наличии восклицательной интонации: «Спаси их бог миленький!», и лишь единственный раз употреблен в ироническом смысле для осмеяния константинопольского патриарха, отказавшего ему в приюте: «Эдакой миленький патриарх; милость какую показал нам странным человеком!»).

Для языка И. Лукьянова, как и для Аввакума, характерны сочетания коротких вопросительных предложений с восклицательными, содержащими ответы на них. Такие синтаксические сочетания служат для передачи настроения автора в наиболее критические эпизоды его жизни, например, когда Лукьянов со спутниками попадает в Египет: «Так мы смотрим, что будет? Языка не знаем, а где стать, бог весть? А есть ли тут греки или нет, бог весть! Спросить не у кого, что делать? Тут то уже горесть та была!». Такие резкие интонационные переходы выгодно разнообразят внутреннее течение в целом монологической речи автора.

Описание пейзажа Лукьянов строит в форме перечисления наблюдаемых предметов, причем определение чаще всего стоит после определяемого слова, что помогает резко выделить качественную характеристику предмета: все степь голая; горы высокия; переправы лихия; место тесное. Как и Аввакум, Лукьянов любит двукратные и трехкратные повторения однородных членов предложения, что передает не только эмоциональное состояние автора, но и ритмически организует речь: «И бысть нам той день путь труден вельми

и тяжек»; «корабль подле берега бежит, подле берега трется»; «моревенится и волнами разбивается»; «а земля около Нила добра и черная и ровная»; «Нил река бежит быстра и мутна».

Влияние Аввакума можно проследить и на примере популярной в старообрядческой литературе (конец XVII—XVIII вв.) формы двустипия. В «Житии» и посланиях Аввакума часто встречаются парные рифмованные строки: «Из моря напился, а крошкой подавился». Лукьянов также использует этот литературный прием: «И простихомся, и друг другу поклонихомся»; «А я смотрю, куда они каноны-то дели? Знать во окно улетели!».

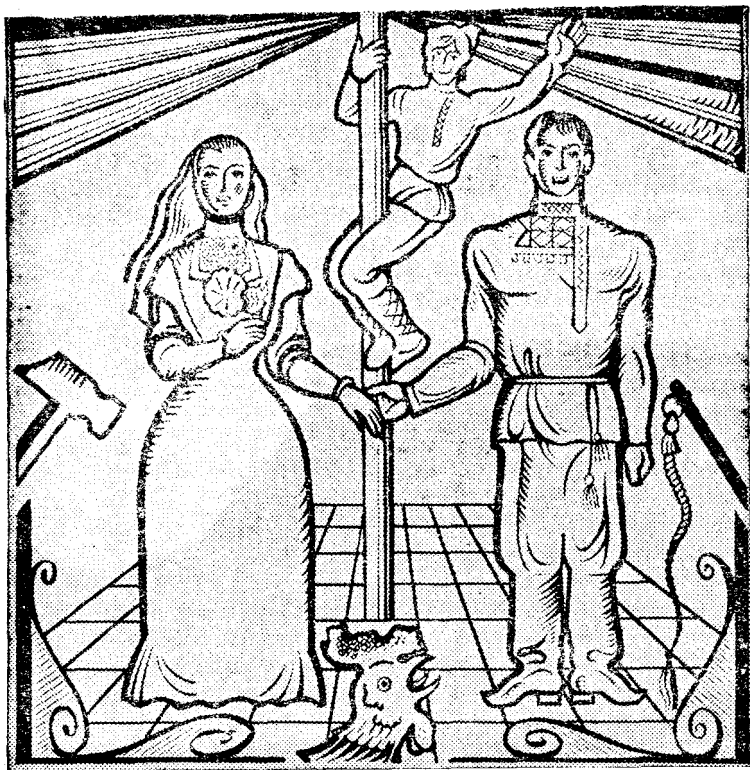
Таким образом, влияние языка и стиля произведений протопопа Аввакума сказалось прежде всего в общей стилистической оформленности «Путешествия» И. Лукьянова, в сочетании книжно-литературных и народно-разговорных форм, обилии просторечных слов и использовании путешественником любимых литературных и языковых приемов.

Характерным для И. Лукьянова является неожиданное сочетание слов с формой со товарищи: «Турки разводят всякие цветы — пион со товарищи»; в русских реках водятся «пескари, окуни, головли, язы да куропатицы со товарищи».

И. Лукьянов жил в Петровскую эпоху, и естественно, что языковые и стилистические нормы этого времени отразились в его паломническом хождении. Если при изображении святынь Иерусалима Лукьянов остается во власти традиций древнерусских хождений, то в описании пути — это типичный путешественник петровского времени, с увлечением рассказывающий о культуре, обычаях, народных праздниках, в речи которого уживаются древние традиционные формы с новой лексикой: «курсаны» (корсары), «солдаты», «матросы», «фортуна» в значении «буря». Укажем также на слово кофе, употребленное Лукьяновым в форме кагве: «турки сами вина не пьют, только воду да кагве, черную воду грегую, да солоткой шербет». Это слово известно в России еще с середины XVII века от путешественника Арсения Суханова, пившего на трапезе «кофе с сахаром»; чуть позже русский посол П. А. Толстой употреблял формы кофа и кефа, Петр I — кофе, но форма кагве, использованная Лукьяновым, в XVIII—XIX веках уже не встречается.

Итак, «Путешествие Иоанна Лукьянова» отражает не только характерные черты древнерусских хождений и произведений протопопа Аввакума, но и нормы языка петровского времени.


С. И. ТРАВНИКОВ
Рисунок В. Толстоногова



КУЗЬМОДЕМЬЯН- СВАДЕБНИК

Свадебные термины старины были связаны с именами двух святых Косьмы и Дамиана, слившихся в народном представлении в один нераздельный образ Кузьмодемьяна-свадебника, змеборца, покровителя кузнецов и земледельцев.

Ежегодно 1 ноября (17 октября) устраивались в народе «кузьминки», девичий праздник, или «курьи именины». Девушки-подростки в этот день ходили по селу, собирали крупу и масло для каш (каша — символ плодородия и благополучия), потом варили ее и ели с постным, затем со скоромным маслом, а на «закладку» — с салом. Девы на выданье пекли в складчину блины, пироги,



поминали Кузьмодемьяна, устроителя семейной жизни, матери и невесты просили у него счастливых браков: «Родной батька, родная матка, родной дядька, сястрицы, гости, приезжие, суседи, приближенные, собирайтесь пир пировать, с нами свадебку гулять, святого Кузьму запивать. Святой Кузьмодемьян скует свадебку, крепкую, лепкую; совется хмель с тычинкою и, свившись, не разовьется; свенчается невеста с женихом, свенчавшись не разоидется... Кузьмодемьян кует свадьбу крепкую долговечную. Первая грань — на любовь на совет; вторая — на долгий век; третья — на хлеб на соль; четвертая — на детушек...» (Смоленский этнографический сборник. Ч. II, СПб., 1893).


Такие прибаутки обычно кончались песней, называемой «кузьмою», которая была предназначена для жениха и невесты. По обычаю ее пели три раза: первый раз пел столбовой (друга жениха), сидевший на столбе (столб — тростник, палка или колода), поддерживающем полати (нары), в оборванных лаптях, в изношенной одежде, рваной шапке, с растрепанными волосами, подобно скоморошине у князя Владимира на свадьбе Алеши Поповича; два раза пели, стоя или сидя, гости, хозяева, жених с невестой. Столбовой поёт «кузьму» после расплетения косы невесты и после раздачи курника — пирога или каравая, на котором выпечена голова петуха, небесного вестника и стража бога солнца, разгоняющего своим криком нечистую силу. Если жених оказывался скупым, ему пели песню не со всеми похвалами, о чем и свидетельствует пословица «Бедному Кузеньке — бедная и песенка», звучащая с укоризной, наставительно (см.: В. П. Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1966).

В некоторых губерниях был обычай связывать молодых на свадьбе веревкой или цепью — «кузьмою», отсюда и следы этого обряда в загадке: «Узловат кузьма, развязать нельзя», где «кузьма» не что иное, как цепь (сравните: *узы Гименея*).

В русских свадебных песнях часто упоминаются атрибуты власти Кузьмодемьяна: «кузло» — молот, кующий брачные цепи, и «кузенька» — плеть, символ солнечного луча, символ плодородия,

А Кузьма да ты, святой Демьян,
Приходи к нам на свадебку
Со своей кузенькой...

Приходи со своим святым кузлом
Скуй нам свадебку
Крепко, крепко-накрепко!



Обряд великорусской свадьбы сопровождался ударами плети — «кузьки» («кузеньки»). Так, по приезде молодого в дом невесты или при отъезде молодых в церковь ударяли плетью прямо и крестобразно по стенам, дверям, скамьям, дороге, подружкам невесты, изгоняя нечистых духов. На белорусской свадьбе удары плетью по молодой считались благостными, дающими плодородие.


У русских плетью из ритуальной превратилась в бытовой обрядовый атрибут. Так, отец невесты, ударяя свою дочь «кузькой», говорил: «Ты, дочь, знаешь власть отца: теперь эта власть переходит в другие руки; за послушание тебя будет учить этой плетью муж». Жених, приняв плетью, отвечал: «Я не думаю иметь в ней нужды, но беру ее и буду беречь как подарок», — и закладывал плетью за кушак или за сапог. Потом в опочивальне невеста снимала сапог с жениха, а он, ударяя ее плетью, приговаривал:

Плетка шелковая да подорожная,
О семи хвостах да с проволокою.
Девке стежь-то дал — с ног свалилася.

В значении «плеть» слово *кузька* могло употребляться как бранное, что зачастую допускалось на свадьбах вместе с грубовато-насмешливыми песнями, остротами и поговорками, адресованными жениху и невесте. В этом случае «плодотворная» плетью, «благостный» символ солнца, семейного благополучия и добра, иронически переосмыслена, метафоризирована и ассоциируется со злом. Несчастливые браки создали новый образ Кузьмы-оглушителя, где имя Кузьма (Кузька) связано с представлением о злом и глупом человеке: «Поживешь — и Кузьму отцом назовешь». Вместе с тем имя Кузьма (Козьма) в поговорках сохранило и значение «бедный, горький»: «Кузьма безталанная голова», «Горькому Кузеньке горькая долюшка» (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955).

В свадебных поговорках и песнях часто употреблялись и такие термины, как *закузьмить*, *кузьминить*, *подкузьмодемьянить*, *кузьмодемьянить*:

Закузьмила — задемьянила
Вся поселщина поселская.
Ай, всем Кузьму, ах и всем Кузьму
Всем-то мы Демьяна чествовали...
Веселей того кузьминили.



Все эти глаголы означали — пить, не давая просохнуть горлу, моленое кузьмодемьяново пиво и брагу, есть кузьмодемьянскую пасху, курятину, каши, веселиться на свадьбах, совершая определенные обряды.

Слово *подкузьмить* первоначально обозначало — ‘выбрать себе в жены (мужья) девку (парня) под Кузьму-свадебника’. Парни шловокими подходами, сладкими ласками, игривыми задорными частушками... умеют пленять и угощать девиц... редкому парню не доводится «подкузьмить» (завлечь) ту, которая ему больше всего нравится... И красные девицы стараются выбрать себе женихов, спешат завлечь, «подкузьмить» доброго молодца... Обыкновенно такие пиры-братины, засвидетельствованные летописью, кончались браками...» (см.: С. Максимов. Крылатые слова. М., 1955).

Но, вероятно, можно было обмануть и Кузьму, святого защитника христианских браков, о чем свидетельствует поговорка «Кузьеньку подкузьмили!», отражающая второе значение слова *подкузьмить* — обмануть перед свадьбой девушку, предать, несмотря на строгости патриархальной жизни.

Кузьминки, как известно, еще и праздник кузнецов-ремесленников (Кузьмодемьян стал кузнецом благодаря близости имени Кузьма со словами *кузня, кузница, кузинка, кузало*), праздник земледельцев. В это время происходил расчет хозяина с наемными рабочими. И здесь слово *подкузьмить* часто употреблялось во втором значении — ‘обмануть, предать’: например, «...может подкузьмить мироед-хозяин при расчете с наймитом за потраченный полугодовой труд от Вешнего Егория до осеннего Кузьмодемьяна» (см.: С. Максимов. Крылатые слова. М., 1955). Защищать хозяина будет власть: писарь, письмоводитель, приказная строка. Таких людей народ назвал «кузьмичами»: «Он хороший человек, да кузьмич, того и гляди „подкузьмит“» (из материалов картотеки «Словаря русских народных говоров»).

Так древний обряд или суеверие, теряя ритуальную оболочку, предстает перед нами в свадебной песне, в пословице, в народной игре, празднике, в старинных значениях слов-имен.

Т. Н. КОНДРАТЬЕВА
Рисунок В. Толстоногова

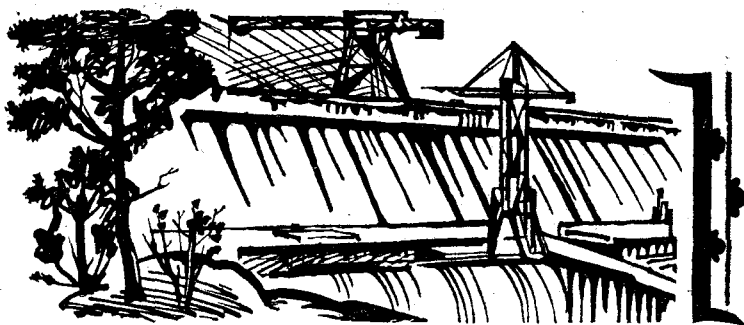


История географического имени бывает иногда весьма причудливой: соответствие между этимологией современного названия и его внешней формой может оказаться случайным и условным. Поэтому для объяснения происхождения топонима приходится отвлекаться от его современной формы и прибегать к историко-лингвистическому анализу.

О городе Братске стало широко известно с середины 50-х годов, когда весь мир узнал о строительстве гиганта советской энергетики — Братской ГЭС. Однако лишь немногие, очевидно, задумывались над тем, как возникло это географическое название.

В конце XVI — начале XVII века в состав Российского государства вошли огромные территории Сибири. Русские землепроходцы — казаки, служилые и промышленные люди — продвигались все дальше в неведомые сибирские края. Освоение новых земель сопровождалось строительством опорных пунктов — сибирских крепостей, или острогов, как их тогда называли, вокруг которых селились служилые и промышленные люди из центральных областей России. Острог как тип оборонительного сооружения представлял собой деревянную крепость, имевшую несколько башен с бойницами. В 1587 году был построен город Тобольск, а в 1604 году — одно из первых укреплений на новых землях — Томский острог. Позднее — Енисейский острог (1619), Красноярский (1628), Илимский (1630) и другие.

В 1631 году на правом берегу сибирской Оки, в двух километрах от ее устья, казаками и служилыми людьми был создан новый опорный пункт для освоения сибирских земель, получивший этнонимическое название — *Братский острог* 'укрепление, крепость в земле братьев'. Как свидетельствуют источники (см.: Г. Ф. Миллер. История Сибири. М.—Л., 1937—1941), *братами* именовались буряты. Незнакомое русскому языку этническое название было воспринято фактически в форме «братья, брацкие люди», что и нашло свое



отражение в памятниках письменности. Причем здесь можно предположить и сближение с русским словом *брат*.

Начиная с 20-х годов XVII века в русских источниках появляется и этнографическое обозначение территории, получившей название «Брацкой земли». В «Отписке Андрея Дубенского тобольскому воеводе князю Алексею Трубецкому...» (1629) читаем: «В нынешнем во 137-м году писано ко мне от вас, а велено мне посылать послов в Брацкую землю служилых людей...». Таким образом, происхождение топонима *Братск* следует рассматривать в непосредственной связи с этнонимом *братья*.

Топоним был образован от фонетически освоенного русскими слова *братья* с помощью суффикса *-ск*, уже отличавшегося продуктивностью в русской топонимии XVI—XVII веков (ср. топонимы Зараеск, Тобольск, Томск(ий), Архангельск, Енисейск и т. п. в «Книге Большому Чертежу»).

В 1654 году „братские князцы“ напали на Братский острог и сожгли его, однако казачьи отряды снова построили крепость, но уже в другом месте — на левом берегу Оки, ближе к ее устью. Становится понятно, почему известный сибирский географ и картограф XVII—XVIII веков С. У. Ремезов, впервые картографически описавший Братский острог в своей «Чертежной книге Сибири» (1701), неизменно помещал его на левом берегу Оки при ее впадении в Ангару. В изображении С. У. Ремезова Братский острог представлял собой квадратное сооружение с четырьмя угловыми башнями, тыновой оградой и воротами (подробнее об истории острога см.: А. И. Михайловская. Братск. Историко-археологический очерк. Иркутск, 1928).

Историко-лингвистические источники содержат интересные сведения о Братском остроге. К наиболее ранним принадлежит указание на это название в упоминавшейся «Чертежной росписи речных путей...» (1640—1641): «А по скаске тунгуской те братцкие люди

блиско Брацкого острогу, где годуют из Енисейского острогу служивые люди». Встречаем это название и в «Житии», написанном между 1672 и 1673 годами известным идеологом старообрядчества протопопом Аввакумом. Опальному протопопу, сосланному за его проповеди в Даурию (так назывались в XVII веке современные территории Забайкалья и Приамурья), пришлось зимовать в Братском остроге с поздней осени 1656 года до весны 1657 года. Там, по преданию, Аввакум был заключен под стражу в северо-западную башню острога. В своем «Житии» он писал об этом так: «Посем привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филипова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да бог грел и без платья!» (А. Н. Робинсон. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963).

В Дополнениях Тобольской редакции (1673) «Книги Большому Чертежу» читаем: «А от Енисейского острога по Тунгуске реке вверх до нижнего Брацкого острогу 12 недель...» (Книга Большому Чертежу. М.—Л., 1950). В сравнительно поздних по времени составления летописных сводах встречаем, например, такую запись между 1572 и 1683 годами: «Отъ Генесъйского острога вверхъ Ангарю рѣкою стругами ходу до Брацкого острога 4 недѣли» (Сибирские летописи. СПб., 1907).

22 августа 1675 года в Братском остроге останавливался русский посол Н. Спафарий, который в своем путевом дневнике записал: «...приѣхали въ Брацкой острогъ. А жилыхъ дворовъ казачьихъ съ 20. Да подъ острогомъ течеть рѣка Ока. А вытекла изъ степи, а по ней живутъ пашенные крестьяне и Браты» (Путешествие чрез Сибирь... Николая Спафария в 1675 г.—Записки Русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1882, т. 10, вып. 1).

К XIX веку острог перестал быть оборонительным сооружением и вскоре превратился в обычный населенный пункт. Изменилось и его название: Братский острог стал просто Братском.

До середины 50-х годов нашего века Братск оставался старинным селом, центром Братского района Иркутской области. В связи с начатым в 1955 году строительством Братской ГЭС это село было затоплено водами Братского водохранилища. Тем не менее географическое название, хотя и потерявшее прежнюю этимологическую связь с этнонимом, не умерло, не забылось. Оно было присвоено молодому городу гидростроителей, возникшему в 1955 году севернее своего старинного собрата.

В последнее время топоним как бы пережил свое второе рождение: переосмыслившись, он наполнился новым содержанием. Действительно, современный Братск стал символом братства и дружбы всех народов нашей многонациональной Родины, построивших в тайге на берегу Ангары новый город.

А. В. БАРАНДЕЕВ



НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СИБИРСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Населенные пункты Мамырь, Мока, Чама... до образования Братского моря значились на географической карте Иркутской области в районе Среднего Приангарья. В связи с затоплением две деревни — Малая и Большая Мамырь — были перенесены на новое место с сохранением одного общего названия Мамырь. Жители деревень Мока и Чама переселились в основном на территорию молодого, но крупного Братского овощесовхоза.

Заселение Среднего Приангарья русскими началось в первой половине XVII века, после постройки Братского острога (крепости) в 1631 году. К концу 30-х годов границы бывшей Братской волости уже распространились вверх по Ангаре до реки Уды. Первоначально она находилась в ведении Енисейского воеводства. В 1696 году Братская волость была отписана от Енисейска и некоторое время управлялась письменным головой (военное или гражданское должностное лицо), непосредственно подчинявшимся Сибирскому приказу. В самом начале XVIII века Братская волость вошла в состав Илимского воеводства. В переписи населения, проведенной в 1723 году, среди многих населенных пунктов Братской волости отмечаются «Мокинская», с двумя дворами пашенных крестьян, «Мамырская Большая», «Мала Мамырская», с четырьмя дворами пашенных



крестьян каждая, но Чамы нет. «Чамская» встречается в «Реестре наличным деревням и дворам...» за 1743 год, в «Описи... укого сколко овинов, снопов и пудов и какого хлеба...» за 1750 год и других документах Илимской воеводской канцелярии второй половины XVIII века.

Формирование топонимики Ангаро-Ленского края тесно связано с особенностями его общественной и экономической жизни. В составе ее отмечаются топонимы местного происхождения, чисто русские и смешанные названия (В. Н. Шерстобоев. Илимская пашня. Т. I, Иркутск, 1949). Однако этимологические сведения о некоторых из них являются или спорными (Мамырь), или явно недостаточными (Мока, Чама), или вовсе отсутствуют (некоторые топонимы не включены в список «географических названий Восточной Сибири»).

Профессор Иркутского университета Г. В. Тропин считает, что Мамырь происходит от эвенкийского слова *намарган* 'болото', «с такой же огласовкой и с тем же значением это слово встречается в бурятском языке, позаимствовавшем это название, *намаг* — болото, трясины, топь» (Труды конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961).

Как слово эвенкийского происхождения *Мамырь* находит истолкование и в других работах (см.: М. Н. Мельхеев. Географические названия Восточной Сибири, 1969).

П. Я. Черных в «Русских говорах Мамырской волости Тулунского уезда Иркутской губернии» (Иркутск, 1923) допускает возможную связь этого названия с названием деревни Московской области Момыри и старинной московской фамилией Мамырёвы. Обе этимологии представляются не вполне убедительными. Во-первых, в указанной работе М. Н. Мельхеева из признанных эвенкийскими по происхождению топонимов нет таких, где бы эвенкийское *a* перешло в *ы*. Это вызывает сомнение в том, что *намарган* могло дать *Мамырь* (с целым рядом других звуковых изменений: смягчением *p*, утратой *-ган*),



Во-вторых, район Среднего Приангарья в период его заселения и позже характеризовался отсутствием контактов с коренными жителями края: эвенки расселялись значительно севернее (В. Н. Василевич. «Тунгусско-русский словарь», 1937), буряты уже в конце XVII века кочевали в приокских и балаганских степях (В. Н. Шерстобоев. Илимская пашня, т. I, 1949). Заселение территории шло с низовья Ангары. Первопоселенцами, особенно вначале, были выходцы из северных областей Европейской России.

Приток в Сибирь уроженцев южно- и среднерусской полосы начался с открытием Московского тракта (2-я половина XVIII в.), но он не внес существенных изменений в состав населения Среднего Приангарья, так как выходцы из южной и средней части Европейской России оседали, в основном, в верховье Ангары.

Известно, что в выборе наименования той или иной местности значительную роль играет ее характерный признак. Учитывая это, представляется возможной связь топонима Мамырь со словом *мырить*, отмеченного в словарях с пометой *северновеликорусское*.

Так, в «Словаре областного архангельского наречия» А. Подвысоцкого (СПб., 1885) находим: «мырить (о воде) — рябить. Отсюда: мырь — струя на воде от падения в нее чего-либо, удара по ней. Повсеместно».

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля указано: «мырить, арх. Вода мырит, кружится в сувое, роет берег»; «мыр, сев., место, где вода мырит, напр., от затонувшей корчи».

Мырити отмечено и в «Материалах древнерусского словаря» И. И. Срезневского (СПб., 1902): «...не мырити ни в кое же дѣль», то есть не увилывать ни от какого дела.

Мырь, мырить нередко употребляется в речи русских старожилов Братского района: «На бычке у камней всегда вода мырит, перекатывается. Бревно ли куст затопит, и от него мырь, вроде мелкие волны кругом. Только небольшой ветерок, и сразу мырь на реке» (примеры взяты из материалов З. И. Носовой).

Малая и Большая Мамырь располагались на берегах очень

бурных речек, впадающих в Ангару. Да и на самой Ангаре встречались места (отмели, называемые рёлками), где вода бурлила, кружила, пеннлась. Об этом говорили: «Мырь мырит». Такой оборот речи был записан П. А. Ровинским от своего проводника, жителя бывшего Братского острога, в 1871 году (Известия Сибирского отдела русского географического общества. Т. II, 1971, № 3, с. 60).

Первоначально топоним звучал *Намырь*, представлял собою предложное образование *на+мырь* (селение, расположенное на Мыри). В «Реестре наличным деревням и дворам...» за 1743 год имеем: деревня Малая Намырь, деревня Большая Намырь. В результате межслоговой ассимиляции (звукового уподобления) наименование изменило свой облик — *Мамырь* (ср. также Микита, Миколай вместо Никита, Николай). В речи старожилов встречается до сих пор и Намырь: «До переселения было две Намыри: Малая Намырь и Большая Намырь. В Большой Намыри Настя наша живёт» (записано З. И. Носовой).

Топонимы *Мока* и *Чама* следует соотносить со словами *моклый*, *моква* и *чамра* (*чемра*), которые встречаются в ряде словарей.

В словаре В. И. Даля: «моклый, мокнуть, мокредь см. мокрый». В «Этимологическом словаре русского языка» (М., 1967) М. Фасмера: «Моква — сырость, слвц. токва 'жидкость', чеш. mokvati — мочить, сочиться».

Слово *чамра* отмечено в «Словаре областного архангельского наречия» А. Подвысоцкого: «Чамра, Чемра, Шкойда — мелкий дождь на море, или же мелкий при тумане снег».

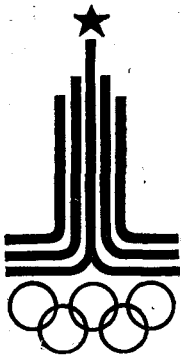
В словаре В. И. Даля: «Чамра и чемра, арх., морок, сумрак, мрак, меркать (тускл; рябь на воде, от ветру) мокрый снег с туманом». «Чемара — арх., чемра, ситник, бусенец, мжичка, мокринец».

Таким образом, топонимы *Мока*, *Чама* были в прошлом связаны с понятиями 'сырость', 'сумрак', 'мрак', чем, очевидно, отличались глухие, таежные места в период их заселения, освоения и даже значительно позже.

Т. В. СЕРГЕЕВА

Иркутск

Рисунок В. Комарова



Как известно, родина Олимпийских игр — Древняя Греция. Игры проводились в городе Олимпия (северо-западная часть Пелопоннеса). Впервые о них упоминается в 776 году до нашей эры. Этот год и принято считать началом традиции проведения Олимпийских игр. Как рассказывается в одном из мифов, игры учредил Геракл и посвятил их Зевсу. Местом проведения Олимпийских игр в Олимпии был особый «священный округ» — Альтида. Он представлял собой рощу, обнесенную оградой. В ней находились стадион, ипподром, алтари и храмы богов, сокровищницы с дарами, статуи победителей Олимпийских игр. В состязаниях участвовали полноправные граждане греческих полисов, позднее — также и римляне. В 394 году нашей эры игры были запрещены римским императором Феодосием I, видевшим в них отголоски язычества.

Возрождены они были по инициативе французского пе-

дагога и общественного деятеля Пьера де Кубертена в конце XIX века. Первые Олимпийские игры нового времени состоялись в Афинах в 1896 году. Затем они проводились в Париже, Сент-Луисе, Лондоне, Стокгольме, Мельбурне, Токио, Риме и других городах мира.

XXII Олимпийские игры состоятся в Москве в 1980 году и будут проводиться с 19 июля по 3 августа.

Какой же будет московская Альтида? В столице их будет несколько, разместятся они также в Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине. Количество олимпийских зон Москвы — десять, и в каждой из них намечено проводить соревнования по определенным видам спорта. Это — Центральный стадион имени В. И. Ленина в Лужниках (легкая атлетика, футбол, конный спорт, гимнастика, дзю-до, волейбол, водное поло, пятиборье, церемония открытия и закрытия игр); Крылатское (гребля, со-

стызания на велосипедном треке, стрельба из лука); Ленинградский проспект, где расположены стадион «Динамо», стадион Юных пионеров; спортзал на улице Лавочкина; спортивный комплекс ЦСКА (футбол, хоккей на траве, ручной мяч, баскетбол, борьба, фехтование, пятиборье); проспект Мира (район бывших Мещанских улиц), где сейчас сооружается самый крупный в Европе крытый стадион (бокс, баскетбол, плавание,

прыжки в воду, водное поло); Битцевский лесопарк (конный спорт, пятиборье); Химки-Ховрино (ручной мяч); Сокольники (ручной мяч); Измайлово (тяжелая атлетика); район Минского шоссе (шоссейные велосипедные гонки); Мытищи (стрелковый спорт, пятиборье).

Кроме того, есть несколько мест, непосредственно связанных с Олимпийскими играми, хотя там и не будут проводиться спортивные состязания.



Лужники

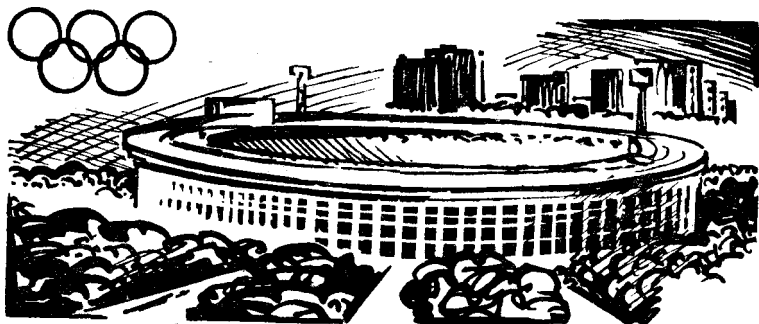
Здесь находится Центральный стадион им. В. И. Ленина, на котором 19 июля 1980 года вспыхнет олимпийский огонь, затем в течение двух недель будут проходить состязания по самым разнообразным видам спорта и состоится закрытие Игр XXII Олимпиады.

Лужники — один из старых районов столицы. Стадион расположен как бы на дне огромной чаши, образованной крутой излучиной реки Москвы. Это сходство с чашей подчеркивается высоким противоположным берегом, на котором находятся Ленинские (бывшие Воробьевы, названные так по селу Воробьево) горы. Название Лужники происходит от *лужник*, что значит 'небольшой луг, луговина'. Это слово зафиксировано в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. И действительно, территория современных Лужников в прошлом представляла собой луг, затопляемый весной. После половодья на нем оставались небольшие озера. Два таких озера сохра-

Это — Мичуринский проспект, где расположится Олимпийская деревня, Зубовский бульвар (главный пресс-центр Олимпиады-80), Останкино (олимпийский телерадиоцентр), Костянский переулок, около улицы Сретенки (Организационный комитет Олимпийских игр 1980 года).

Места, где расположены перечисленные объекты, их названия могут поведать много интересного об истории Москвы, ее развитии и росте, об

истории русского языка. Именно поэтому задача данной рубрики — рассказать о том, где расположен тот или иной олимпийский объект, каким он был раньше, как развивался, с какими интересными людьми и событиями связан, когда и как возникло его название и что оно означает. А это значит — создать лингвистическую и культурно-историческую биографию каждой олимпийской зоны Игр 1980 года.



нились у стен Новодевичьего монастыря и впоследствии были превращены в пруды. Между такими озерками обычно находился лужник, то есть небольшой луг, лужок. Совокупность этих небольших лужков — лужников и образовала обширную луговую площадь — лужники, ставшую впоследствии «государевыми лугами» и названием местности.

Вероятно, многие заливные луга около реки Москвы назывались лужниками. Но слово это исчезло из живого употребления, оставив по себе память лишь в нескольких топонимах.

В документах XVII века упоминается дворцовая слобода *Большие Лужники*. Она находилась поблизости от нынешней улицы Бахрушина, которая до 1969 года носила название *улица Лужниковская*. Эта слобода упоминается в документе 1658 года: «Къ сей раздельной записи соленого ряду Левка Ивановъ Большихъ Лужниковъ»

изъ-под Симонова вместо бабушки своей старицы Прасковье Тимофеевой по ее велению руку приложилъ» (Акты, относящиеся до юридического быта древней России). Кроме этого, была слобода *Лужники Малые Крымские*, которая находилась в районе между нынешним Крымским мостом и улицей Димитрова (бывшая улица Якиманка). Память об этих *Лужниках* дошла до нас в названии *Лужниковский переулоч*, который в 1922 году был переименован в *Вишняковский переулоч*.

Топоним *Лужники* известен и в Подмоскowie: село Лужники — на левом берегу реки Оки, неподалеку от города Ступино. Это село упоминается уже в XVI веке в писцовой книге по Каширскому уезду, а прилегающие к нему луга отмечаются как основные угодья этого села: «Возле Оки реки отъ Коширы вверхъ выше Троицкого монастыря къ государеве оброчной же деревне къ Лужникам [относится] того лугу 48 десятинъ» (Писцовые книги Московского государства XVI века). В XVI веке в бывшем Московском уезде на реке Истре стояло село *Лужники*, а на реке Клязьме — пустошь *Лужниково*.

Что же касается Лужников, которым посвящена статья, то еще в XV веке этот топоним был зафиксирован в названии располагавшегося здесь села *Лужниково*, затем, в более поздние времена, — в названии дворцовой конюшенной слободы *Лужники Малые Девичьи* (или просто *Лужники Малые*). В настоящее время от названия этой слободы сохранилось два официальных названия — *Лужнецкая набережная* и *Лужнецкий проезд*.

По мнению многих исследователей, история интересующих нас Лужников изучена еще недостаточно полно. Откроем те ее страницы, которые уже известны.

Первое письменное упоминание о Лужниках относится к 1472 году. Мы находим его в духовной грамоте дмитровского князя Юрия Васильевича, который завещал село Лужниково, одно из древнейших московских сел, своему старшему брату Ивану III: «А господину своему, великому князю, даю свое селце Семчинское, и з дворы и з городскими, и с Лужниковым, да селце Семеновское, да Воробьевское з деревнями» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.).

На протяжении долгих лет Лужники были известны в основном как слобода *Девичьи (Новодевичьи)* или *Малые Лужники*.

В начале XVI века на левом берегу реки Москвы был возведен Новодевичий монастырь, который был своеобразной крепостью, закрывавшей врагу путь на Москву с юго-запада. И с этого времени в Лужниках не раз происходили значительные исторические события. Так, например, в 1571 году сюда вторглось войско крымского хана Девлет-Гирея, а в 1606 году здесь разместил лагерь своих

ратников князь Василий Шуйский, готовившийся к сражению с крестьянским войском Ивана Болотникова.

Лужники заселялись медленно. Одной из причин была постоянная опасность различного рода военных вторжений, так как местность находилась сравнительно далеко от Кремля и не была ничем защищена; а другой — то, что почти каждый год она сильно затоплялась.

Место это было частью *Девичьего поля* — большой незастроенной территории, на которой лишь кое-где располагалось несколько слобод (самой большой из которых была *Хамовная слобода*), отделенных друг от друга пустырями. Интересующая нас слобода в документах XVII века официально именуется *Лужники Новодевичьи*, «конюшенная слобода *Лужники Малые*». В 1638 году в слободе *Лужники Новодевичьи* отмечено только 15 дворов, в которых жило всего 18 человек. Правда, учитывались тогда только мужчины. Интересно отметить, что жители 10 дворов занимались огородничеством: этому способствовали плодородные земли заливных лугов.

Кроме этого, здесь, «за Хамовной слободою против Воробьевых гор», находились и загородные дворы, огороды некоторых бояр, стольников, князей — московской знати. Традиция эта сохранилась и в более поздние времена.

В середине XVIII века Москва была окружена земляным *Камер-Коллежским валом*, который стал таможенной границей города (сейчас он сохранился в районе Лужников в виде большой насыпи, по которой проходит железная дорога). Он разделял Лужники на две части — загородную и городскую. На валу была поставлена Лужнецкая застава.

Топоним *Лужники* — название дворцовой слободы — отмечен на всех планах Москвы XVIII века и в примечаниях к ним. Вот первый план Москвы, носящий название «План Императорского столичного города Москвы, сочиненный под смотрением архитектора Ивана Мичурина в 1739 году». На нем за Новодевичьим монастырем показаны пустые пространства и только у самого берега реки — несколько застроенных участков и среди них церковь «в Малых Лужниках».

Луг около этой слободы носил название *Васильевский*. Вероятно, не случайно местность эта с прекрасными заливными лугами попала в ведение Дворцовой конюшенной канцелярии. В 1790 году Межевым ведомством было произведено «Описание столичного города Москвы и ее уезда со всеми лежащими в них дачами, в чьем они владении, какое число мужского и женского пола душ и сколько мерю земель, со внесением экономических примечаний». Раскроем это «Описание» на той странице, где говорится о Василь-

евском луге и Лужниках: «Государев Васильевский луг ведомства Дворцовой конюшенной канцелярии, на котором поселились разного звания люди в четырех местах. Под селением — 133 десятин, сенокоса — 7,5, неудобной — 7,5. Всего — 148. На левой стороне реки Москвы при слободе Малых Лужниках. Церковь каменная Тихвинския богородицы. Васильевский луг ведомства Дворцовой конюшенной канцелярии. Сенных покосов — 53 десятины, неудобной — 15. Всего — 68. На левом берегу реки Москвы и по обе стороны Камер-Коллежского валу; покосы хороши» (П. В. Сытин. История планировки и застройки Москвы).

Упоминание о Лужниках встречаем мы в произведении А. И. Герцена «Былое и думы». Именно здесь, в Лужниках, Герцен и Огарев переезжали на лодке Москву-реку, чтобы попасть на Воробьевы горы, где они произнесли свою знаменитую клятву и откуда любовались Москвой и Лужниками, которые находились тут-же под горой: «В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку... Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга. и, вдруг обнявшись, присягнули в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».

В XIX веке почти вся обрабатываемая земля в Лужниках перешла в руки нескольких купцов, которые сдавали ее в аренду под огороды. В конце столетия здесь было построено несколько маленьких фабрик.

5 августа 1956 года в Лужниках был открыт один из крупнейших в мире спортивных комплексов — Центральный стадион им. В. И. Ленина. О большом труде его создателей говорит хотя бы тот факт, что в результате земляных работ уровень местности (на протяжении долгих веков регулярно затопляемой) поднялся в среднем на 1,5 метра. На огромной площади расположились Большая спортивная арена, Дворец спорта, Малая спортивная арена, каток, Детский стадион и многие другие спортивные объекты. Ряд новых спортивных сооружений строится специально к Олимпиаде-80.

*Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ*

Рисунок В. Комарова



ЗАРЯДКА

В первом десятилетии XX века в Европе стала усиленно пропагандироваться мысль о том, что каждый день должен начинаться коротким комплексом физических упражнений, дающих человеку мышечную нагрузку после сна и благодаря этому — заряд энергии и бодрости. Наибольшее распространение тогда получила система упражнений, разработанная датчанином И. П. Мюллером в книгах «Моя система», «Пять минут в день» и др. В последней, многократно издававшейся в России, автор, ратуя за утреннюю гимнастику, писал: «Если утром не хватило времени, всегда есть возможность найти 5 свободных минут на службе... Дневной работе дается правильный толчок, тело *заряжается* (здесь и далее курсив мой — *Е. Л.*) энергией». На страницах спортивного журнала «Спартак» (1925, № 2) сообщалось: «До работы... все ученики проходят уроки двигательной культуры. Такая гимнастика *заряжает* к работе после сна».

В глаголах *заряжать*, *заряжаться* реализуется переносное значение существительного *заряд* — «запас физических или душевных сил, энергии, которыми располагает человек».

Короткая утренняя интенсивная разминка получила в русском языке название *зарядовая гимнастика*. Этот сложный термин возник в среде специалистов по физической культуре в середине 20-х годов для обозначения разработанной ими разновидности гимнастики.

Обращение к источникам полувековой давности позволяет воссоздать ныне забытые факты. О зарядовой гимнастике в армии, в школе, на производстве, в домашних условиях много писала физкультурная и общая пресса конца 20-х — начала 30-х годов: «Профессиональные союзы вводят в порядке опыта на 40—50 предприятиях *зарядовую гимнастику* по утрам... *Зарядовая гимнастика* на производстве должна повысить производитель-

ность труда и продвинуть элементарную гимнастическую грамотность в массы» («Спартак», 1926, № 36); «Можно констатировать, что интерес к домашней гимнастике (называйте ее, если хотите, *зарядовой*) растет» («Спартак», 1928, № 41); «Началась передача по радио *зарядовой гимнастики*» («Ленинградская правда», 19 октября 1929). В начале 30-х годов термин попал и под перо писателя, чуткого к разговорной стихии языка,— М. Зощенко: «Конечно, занимайся она [жена инженера] в свое время хотя бы *зарядовой гимнастикой*, она... выплыла бы» (Рассказ про даму с цветами).

Напомним, что прежде единственным производным от существительного *заряд* было прилагательное *зарядный* (даже в Словаре Д. Н. Ушакова приводится только это производное), но оно имело твердо закрепленное за ним значение и сочеталось лишь с существительными предметного значения (например, *зарядный ящик*). Переносное значение слова *заряд* породило и новое структурное производное — *зарядовый*, которое стало неологизмом середины 20-х годов.

Несмотря на свое тогдашнее широкое распространение, прилагательное *зарядовый* прожило короткую (вторая половина 20-х — начало 30-х годов) жизнь: оно возникло для обозначения нового явления, функционировало почти исключительно в составе термина *зарядовая гимнастика* и вскоре, не успев даже закрепиться в толковых словарях, ушло из языка, потому что все сочетание *зарядовая гимнастика* вытеснилось коротким словом *зарядка*.

Конечно, данная замена произошла не сразу: поскольку слово *зарядка* по смыслу соответствовало сочетанию *зарядовая гимнастика*, оно в течение ряда лет употреблялось бок о бок с ним на правах синонима, нередко (как еще не общепринятый неологизм) в кавычках или при уточняющих словах, а иногда — и при развернутых разъяснениях: «Распространение „зарядки“ и систем индивидуальной гимнастики должно производиться научно» («Физическая культура», 1928, сб. 5); «Утренние *зарядовые упражнения* — „зарядки“ играют в системе физической подготовки войсковых частей весьма существенную роль» («Физкультура и спорт», 1928, № 39); «Подъем (пробудка) в 7.30 утра и сразу *зарядовая гимнастика*... *Зарядка* продолжается 15 минут» («Спартак», 1929, № 30).

С распространением зарядки как разновидности массовой физкультуры слово сразу же и неизбежно обогатилось новым смысловым оттенком — «комплекс соответствующих упражнений». А это привело к появлению у него грамматической формы множественного числа: «С введением зарядового метода значительно упростится работа руководителя. Только перед началом учебного

года... вырабатываются самые *зарядки* на учебный год» («Физкультура и спорт», 1928, № 2).

Слово *зарядка* появилось в конце прошлого века как разговорный синоним существительного *заряжание* (*зарядка аккумулятора*) и, как и *заряд*, стало употребляться применительно к человеку. С другой стороны, живое сочетание *зарядовая гимнастика* неизбежно порождало производное *зарядка*. Эти встречные тенденции во второй половине 20-х годов объединились и способствовали появлению нового слова.

Употребление рядом с неологизмом *зарядка* «старого» сочетания *зарядовая гимнастика* способствовало появлению прилагательного *зарядковый* (в составе сочетания *зарядковая гимнастика*): «В борьбе за повышение производительности труда на фабрике „Свобода“ широко развернута *зарядковая гимнастика*» («Физкультура и спорт», 1930, № 8). Это параллельное существование трех синонимов прослеживается и в литературе, придерживающейся терминологической определенности: в «Педагогической энциклопедии» (т. 2, 1928) встречаем *зарядовую гимнастику*, в «Большой медицинской энциклопедии» (т. 7, 1929) и в «Большой советской энциклопедии» (т. 17, 1930) — *зарядковую гимнастику* и (еще в кавычках как слово разговорного стиля) — *зарядку*.

Однако наибольшее распространение в языке получило короткое слово *зарядка*.

Определенное влияние на это оказали внеязыковые обстоятельства. С февраля 1929 года комплекс утренних физических упражнений стал передаваться по московскому радио, с октября — по ленинградскому. В 1929 году ЦК ВКП(б) было принято специальное постановление о физкультурном движении в стране.

Освободившись от однокорневых синонимов, слово *зарядка* сразу же стало обрастать постоянными или временными производными. На основе сочетания *физическая зарядка*, бывшего необходимым уточнением в первоначальный период жизни слова *зарядка* (для отграничения от другого его значения), возникло аббревиатурное слово *физзарядка*: «Здравпункт в марте провел большую разъяснительную работу... о проведении физзарядки» («Большевик», 12 апреля 1932); «Старый тунгус одобрительно смотрит, как начальник делает физзарядку» (Диковский. Петр Аянка едет в гости). Лиц, проводивших производственную зарядку, кое-где стали называть *зарядчиками*: «Отчетливо слышна команда зарядчиков: Раз, два, три, четыре! Вдох, два, три, четыре!» («Шуйский пролетарий», 15 декабря 1932).

Сейчас *зарядка* — общепринятый синоним сочетания *утренняя гимнастика*. Употребляется слово обычно в неофициальной, разговорной речи,

Е. А. ЛЕВАШОВ

КУДЕЯР



Читатель А. И. Евлахов из Ленинграда пишет: «Я родился в Саратовской области и знал там три Кудеяровых горы, Кудеяров курган и Кудеярову пещеру. Срочную службу в Советской армии я проходил в Орловской области и встречал там тоже много мест, которые назывались Кудеяровы. Мой товарищ по армии служил в Воронежской области, и там есть Кудеяровы горы. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» действует Кудеяр, который показан разбойником. Кто же был на самом деле Кудеяр, который прославился и почему от его имени образовано столько географических названий?».

На карте нашей родины географических названий, образованных от этого имени, немного. Встречаются они в областях, лежащих к югу и юго-востоку от Москвы.

Имя *Кудеяр* 'любимец бога' (встречается у некоторых тюркоязычных народов в формах *Худаяр* и *Худияр*) было известно в Московском государстве в XVI веке, оно принадлежало лицам татарского происхождения. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского находим: Кудеяр Чуфаров — помещик (г. Арзамас), князь Кудеяр Иванович Мещерский. В «Словаре древне-русских личных собственных имен» Н. М. Тушикова приводится Кудояр Карачев сын Мудюранов — казак, посол Московский. Во многих документах XVI века упоминается изменник, перешедший на службу к крым-

цам Кудеяр^т Тишенков. Возможно, что приведенные названия населенных пунктов связаны с каким-нибудь из этих имен. Во всяком случае, наименования бывшего Елецкого уезда Орловской губернии могли быть связаны с именем князя Кудеяра Ивановича Мещерского. Многочисленный род Мещерских, потомков князя Бахмета Усейновича, имел земельные наделы и в этих местах.

В русской топонимии часты случаи, когда населенные пункты получали названия до имени своих владельцев, татар по происхождению. Например, город *Касимов* назван по имени татарского царевича *Кайсыма*, сторонника Московского князя Василия Ивановича, который подарил Кайсыму *Мещерский городок* и переименовал его в *Касимов*.

Есть еще группа мелких географических объектов, названия которых (микротопонимы) тоже образованы от имени собственного *Кудеяр*. Их больше, чем первых, и распространены они на более значительной территории: *лог Кудеяров*, *овраг Кудеяровской* (Рязанская обл.), *вершина (овраг) Кудеяровская* (Пензенская обл.), *овраг Кудеяров* (Горьковская обл.), *Кудеяров колодезь* (Тульская обл.), *Кудеяровы горы* (Воронежская обл.), *Кудеярова гора*, *Кудеяров курган*, *Кудеярова пещера* (Саратовская обл.) и многие другие, известные в настоящее время.

Часть этих микротопонимов образована от названий близлежащих населенных пунктов, например, *овраг Кудеяров* находится около села Кудеярово (Горьковская обл.). Большинство же их, видимо, происходит от имени разбойника Кудеяра. По многочисленным преданиям, живущим в народе, это был предводитель грозной разбойничьей шайки, наводившей ужас на целые губернии. Н. А. Некрасов, знавший много народных песен, легенд, сказаний, создал в поэме «Кому на Руси жить хорошо» образ этого разбойника. Он называет его «зверь-человек».

Разбойничьи шайки прятались в самых непроходимых лесах, на неприступных горах, в пещерах и оврагах. Места эти носили название *Кудеяровых* или *Кудеяровских*. Позже так стали называть непроходимые леса и овраги там, где жила память о каких-либо разбойниках, не имевших никакого отношения к Кудеяру.

Имя Кудеяра было широко известно в народе не только из-за жестокости этого человека. Как гласят многочисленные легенды, у Кудеяра пробудилась совесть, и к нему пришло раскаяние. Он стал грабить только богатых и помогать бедным — сделался народным заступником. Впоследствии же он вообще перестал разбойничать и всячески старался искупить свои грехи.

Известность Кудеяра усиливалась и рассказами о его загадочном, якобы царском происхождении. По легендам, Кудеяр ро-

дился между 1526—1530 гг. Его матерью якобы была Соломония Сабурова, жена великого Московского князя Василия III, которую он против ее воли постриг в монахини, потому что она не родила ему наследника, а сам женился второй раз — на Елене Глинской, будущей матери Ивана Грозного. Все это вызвало резкий протест у многих известных людей того времени — Максима Грека, Вассиана Косого (Василия Патрикеева) и др. Сам постриг Соломонии был очень драматичным. Во время пострига она сопротивлялась, сорвала с себя и растоптала монашеское одеяние. Однако постриг состоялся, и Соломония была отправлена в монастырь. Там у нее родился сын. Чтобы сохранить ребенка, его тайно отдали татарам, распространив слух о том, что он умер, и инсценировав похороны. Мальчик остался жив, и его назвали Кудеяром — ‘любимцем бога’. Так, по легендам, появился грозный разбойник, имя которого сохранилось до сих пор в названиях некоторых лесов, оврагов, гор, пещер и т. п.

Г. П. СМОЛИЦКАЯ
Рисунок Б. Захарова

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

■ САЛАГА

И. П. Иванов (Ужгород) просит рассказать о происхождении слова *салага*.

Интерес читателя «Русской речи» к этому экспрессивному слову, ставшему яркой характеристикой неопытного матроса или солдата-новобранца, понятен: оно не только широко известно в живой речи, но и активно проникает в последнее время в литературный язык. Характерно при этом, что если в устной речи чаще бытует слово *сала́га*, то в художественной литературе — его производное *салажа́нок*. Именно его фиксирует словарь-справочник «Новые слова и значения» (М., 1971), в котором приводятся иллюстрации из газет и журналов 60-х годов и даются ссылки на использование этого слова такими писателями, как Л. Соболев, В. Вишневский, Г. Березко и др. Писатели, правда, употребляют и слово *салага*, о чем свидетельствуют материалы богатейшей картотеки «Словаря русского литературного языка», хранящейся в Институте языкознания АН СССР в Ленинграде (новые поступления): «Всех нас [молодых матросов] старые моряки звали „салагами“ или „салажатами“. Так зовут юнг и всю молодежь, которая еще моря не нюхала» (Золотовский. Подводные мастера); «Это [сделать стенгазету]

салагам поручить. Они у нас хорошо грамотные... — Это разумно. Только не салаги они, а молодые матросы» (Г. Владимов. Три минуты молчания).

На флоте, как видим, *салагой* или *салажонком* насмешливо называют новичка-матроса первого года службы.

Широкое использование *салага* и *салажонка* в переносном значении писателями-маринистами свидетельствует о том, что эти слова пришли в язык художественной литературы из речи моряков.

Доказательством этого является и их происхождение. Л. И. Скворцов верно связывает *салага*, *салажонка* 'новичок' с *салака* 'мелкая рыбешка, мальки' (Литературный язык, просторечие и жаргоны в их взаимодействии. — Сб. «Литературная норма и просторечие». М., 1977). «Рыбное» значение есть и у фонетического варианта слова — *салага*. Он широко известен в русских говорах Заонежья, Белозерья, Вологодчины и бывшей Олонецкой губернии. Этим словом в народной речи называют мелкую рыбешку самых разных видов — уклейку, ельца, салаку, белорыбицу, плотву. Пришло оно из финно-угорских языков и диалектов (вепсское *salag*, финское *salakka*, эстонское *salakas*, карельское *салатти*).

Границы его распространения показывают, что переносное значение слова могло родиться в матросской среде Балтийского или Северного флота, где салага была хорошо известной реалией. Ведь рождение яркого образа требует обычно совмещения прямого и переносного значений.

Салага 'новичок' как метафора — индивидуально-речевое образование. Но при всей индивидуальности, она создана по смысловой модели, хорошо известной многим языкам. Л. И. Скворцов приводит в своей статье такие арготические по происхождению слова, как *караси* и *гольцы* (*огольцы*), имеющие то же значение, что и *салага*. Метафора «детеныш животного — неопытный молодой человек» представлена во многих языках: рус. *неоперившийся птенец*, *желторотый птенец*, *желторотик*, *щенок* или *пщенок*; чеш. *pulec* — дословно *головастик*, *bažant* — *фазан* (новобранец), *neoperěný nevyžetáný pták* — *неоперившийся, необученный летать птенец*; сербохорв. *жутокљун* — *желтоклювик*; нем. *Grünschnabel* — *зеленоклювик*; англ. *callow* — *неоперившийся* и др.

Характерно, что родившись как специализированная метафора этой семантической модели, слово *салага* постепенно отрывается от своей исходной «морской» среды и начинает обозначать не только матроса-новичка, но и солдата-новобранца: «Однако он, старшина, понимает, что этого Савицкого еще долго надо воспитывать, так как он еще совсем салага... Тут замполит строго посмотрел на старшину, тот поперхнулся, — Извиняюсь, — сказал он, —

„салага“ тоже оскорбляет человеческое достоинство» (А. Елагина. Трудная граница); «— Слушай ты, салага, „акулу“ выдумали для пользы дела. Чтоб ты мог по-настоящему тренироваться. Ясно?— Что?! Это я— салага? Да как ты разговариваешь с офицером?! Коржавин опешил. Разве знал он, что под одеялом лежит офицер?» (Г. Свиридов. Рядовой Коржавин).

На этом, однако, расширение сферы употребления слова *салага* (*салажонок*) не кончается. Из военного обихода оно «вырывается» и «на гражданку», становясь одним из общеразговорных синонимов слов *новичок*, *молокосос* и под. Писатели вкладывают его в уста рабочих и служащих города и деревни: «— Да ты что — святой? — бесится Костя. — Кому это надо? Петрович же — это прошлый век. А ты передовик, лучшие показатели по всей стройке. — Замолчи, салага, — обрывает Павло. — Ничего ты не понимаешь» («Макеевский рабочий», 29 мая 1973); «— Так ты вопишь, что тебя, наверное, слышит вся деревня. — Женька рассвирепел. — И пусть слышит! Пусть все знают, что нас в жизнь пустили салажатами...» (В. Липатов. И это все о нем).

Показательно, что обогащенное семантически и выпешее за рамки морского употребления, слово *салага* активизируется и в словопроизводном отношении. Картотека «Словаря русского литературного языка» уже фиксирует такие его производные, как *салажбночек* и *салбжий*, причем тоже в широком «гражданском» речевом обиходе: «Да вы не тушуйтесь, салажатки мои, — говорит Цыганок» (В. Конюшев. Двенадцать палочек на зеленой траве); «Как назвать товарища Котова, пользуясь „салажьей“ терминологией? Гениальный рабочий? Возможно» («Комсомольская правда», 3 апреля 1964).

Расширение сферы употребления слов *салага*, *салажонок* в разговорной речи способствовало и активности их территориального распространения. Так, например, слово *салажата* в значении «маленькие ребята дошкольного и младшего школьного возраста» в 1970 году записано в селе Южино Колыванского района Новосибирской области. «Остались все салажата, малинькие ребятыньки» — таков контекст этой диалектной записи. Как видим, севернорусское слово *салага*, выйдя из недр диалектного употребления и пройдя «морскую» специализацию и горнило разговорной речи, вновь вернулось в диалект.

История просторечного, но уже прочно вошедшего в литературный язык слова *салага*, как видим, весьма проста. Но за этой простотой — чрезвычайно сложное взаимодействие диалекта, жаргона, просторечия и художественной речи, характерное для современного русского литературного языка,

В. М. Мокиенко

БАТРАК



В состав русской литературной лексики входят элементы из самых разнообразных источников, в том числе и из русских народных говоров. Интересна судьба слов диалектного происхождения (см. статью В. А. Филатова «Слова диалектного происхождения». — «Русская речь», 1978, № 5). Показательна в связи с этим история слова *батрак*.

Это слово — татарского происхождения. В общем употреблении оно пришло из северновеликорусских говоров в значении ‘холостой крестьянин, не имеющий своего хозяйства и работавший постоянно у других крестьян из-за платы или из-за содержания’. Первое упоминание *батрак* в значении ‘наймит (работающий по найму не только в сельском хозяйстве)’ отмечается в деловой переписке последних десятилетий XVI века: «Наняли батраковъ чистить у кельи и возить з двора, дано батракомъ отъ дворового чищения девять алтын» (Книга расходов Болдинского монастыря, 1585—1589).

Академик Б. Д. Греков обстоятельно описал в своей монографии «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века» (М.—Л., 1946) все категории людей, работавших до XVII века по найму в сельском хозяйстве: *подсуседники*, *бобыли*, *казаки*, *наймиты*, *захребетники* и др. Однако о батраках в этой книге даже не упоминается, хотя утверждается, что наем в деревне можно «наблюдать в подлинной жизни со второй половины XV и особенно в первой половине XVI вв. довольно часто» (с. 581—582).

В русском языке слово *батрак* получает более широкое распространение с XVIII века, его отмечают Вейсманнов «Немецко-латинский и русский лексикон» (1731), «Материалы к Российской грамматике» М. В. Ломоносова (1744—1757), «Лексикон российской» В. Н. Татищева (1793), деловая письменность: «Да вам же смотреть за крестьяны, чтоб... беглых не держали в батраках» (Письма помещичьих старост. 1714).

Позднее (со второй половины XVIII века) в значении 'наемник, работник' слово получает широкое употребление; оно отмечается не только в речи персонажей (из «простонародья») в комедиях, но и в авторской речи: «Один нанятой батрак помогал им [крестьянам] в работе» (Болотов. Записки). Однако в XVIII веке слово *батрак* еще не получает литературного признания: «Словарь Академии Российской» (1806—1822) приводит его с пометой «простонародное». Свою диалектную окраску слово утрачивает к 20-м годам XIX века (см.: В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938, с. 208). Начиная со Словаря 1847 г. слово *батрак* дается уже без помет.

В течение XIX века оно еще не приобрело терминологической определенности, хотя четко противопоставляется слову *хозяин*. В связи с усиленным развитием товарно-денежных отношений в деревне прежние отношения одного крестьянина (безземельного, обнищавшего) к другому крестьянину (хозяйственному, важиточному) заменяются отношениями наемного работника к хозяину. Об этом свидетельствуют и примеры из художественной литературы: «Хозяин пошел возиться с батраками» (Тургенев. Новь).

Можно думать, что такое словоупотребление опиралось на использование слова в более широком и общем значении — 'работник, слуга': «Батрак постоялого двора» (Григорович. Проселочные дороги). В дальнейшем это значение угасает (в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» оно дается с пометой «устарелое»).

Не укрепилось за этим словом и значение, отмеченное в «Опыте терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народности» В. П. Бурнашева: «батраком называют также всякого, кто много и усердно работает, между тем как плодами трудов его пользуются другие».

К концу XIX века в значении слова *батрак* происходят более существенные изменения: бурное развитие в деревне капиталистических отношений (особенно после 1861 г.) приводит к замене противопоставления «хозяин — батрак» противопоставлением «собственник — батрак». Это изменение связано с употреблением слова в марксистской литературе и прежде всего в работах В. И. Ленина. Основным становится общественно-политическое содержание слова. Первоначально слова *батрак* и *поденщик* различались: *батрак* — постоянный рабочий, а *поденщик* — сезонный рабочий: «... Только игнорируя действительные особенности земледелия, можно брать, для суждения о „крестьянском капитализме“, одних батраков, т. е. постоянных рабочих, опуская поденщиков» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 3, с. 68). В дальнейшем оба слова употребляются в общем значении 'наемные рабочие' и про-

тивнопоставляются словам *наниматель, собственник*: «... для капиталистического хозяйства типичны наниматель-фермер и нанимающийся батрак или поденщик» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 17, с. 106); «Мы видим отсюда, что низшие группы крестьянства, в частности однолошадные и безлошадные дворы, представляют из себя, по своему положению в общем строе народного хозяйства, *батраков и поденщиков* (шире: наемных рабочих) с *наделом*» (там же, с. 109); «Мы исходим из различия интересов классов. Крестьяне-батраки должны быть против империалистической войны. Крестьяне-собственники — за оборончество» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 31, с. 247).

Новый класс, класс сельских пролетариев, или батраков, к концу XIX века становится уже вполне сложившейся социальной категорией: «Ведь у нас в России в одних только „внутренних“ 50 губерниях считали еще в 90-х годах прошлого века не менее *трех с половиной миллионов* батраков и поденщиков, для которых сельская работа по найму составляла главнейший источник средств существования. Теперь, несомненно, число сельскохозяйственных наемных рабочих еще более велико, причем подавляющее большинство их совершенно или почти совершенно *бесхозяйные*» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 10, с. 46—47). Слово *батрак* становится однозначным, специальным наименованием понятия «сельскохозяйственный рабочий, постоянно работающий по найму», иначе говоря терминологизируется: «Итак, по отношению к развитию экстенсивного земледелия нет сомнения, что прогресс техники при товарном хозяйстве ведет к превращению „крестьянина“ в фермера, с одной стороны (понимая под фермером предпринимателя, капиталиста в земледелии), — в батрака и поденщика, с другой» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 1, с. 498—499). «Старое крестьянство не только „дифференцируется“, оно совершенно разрушается, перестает существовать, вытесняемое совершенно новыми типами сельского населения... Эти типы — сельская буржуазия (преимущественно мелкая) и сельский пролетариат, класс товаропроизводителей в земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабочих» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 3, с. 166).

Таким образом, эволюция слова *батрак* пошла не по линии развития в нем переносных, качественных значений, а под воздействием ленинского словоупотребления — по линии его терминологизации. К концу XIX—XX века слово наполнилось четким классовым содержанием: им обозначается уже не всякий наемный рабочий, а только постоянный наемный сельскохозяйственный рабочий в помещичьем или кулацком хозяйстве.

Г. М. МАКЕЕВА.



ЗАКРОМ

«Что намолотишь, то и в закрое положишь. Пусть не будет муки в закрое, не переводился бы печеный хлеб», — гласит народная мудрость.

Закром — отгороженное в амбаре место для хранения зерна — очень старое слово. Оно встречается в памятниках письменности XV века. Как отмечается в «Этимологическом словаре русского языка» под редакцией Н. М. Шанского, *закром*, видимо, имеет восточнославянское происхождение, образовано от глагола *закромити* «отгородить, обнести досками, чтобы не осыпалось», являющегося производным от *кромити* «отделять, отгораживать», возникшего от существительного *кром* «край» посредством суффикса *-ити*.

Закрома располагались в центральной части амбара. Для удобства их стенки делались разборными из досок. Зерно обычно засыпалось сверху, а выбиралось снизу через специальные отверстия, закрываемые задвижками. Такое устройство закрома способствовало тому, что зерно долго не залеживалось: раньше выбиралось то, которое и засыпалось раньше. А передвижение зерна вниз способствовало улучшению воздухообмена в закрое. Для ссыпания зерна в закрое в амбаре часто на уровне потолка делались ворота, а к ним пологие деревянные въезды, по которым на телеге подвозилось зерно. Существовала и ручная загрузка зерна.

Несмотря на то, что слово *закром* существует в русском языке давно, многие ученые в течение длительного времени относили его к диалектной лексике. Например, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова оно квалифицируется как *областное*. По-видимому, в этой стилистической характеристике отразилось то, что слово обозначает реалию, тесно связанную с крестьянским бытом, с сельским хозяйством. Кроме того, в русских народных говорах *закром* с ударением на первом, а также на втором слоге употребляется в нескольких значениях. Так, в «Словаре русских народных говоров» оно представлено в следующих значениях: «ящик для хранения муки» (брянские говоры); «плетеная корзинка» (рязанские говоры); «крыша» (архангельские говоры);

‘крышка, сколоченная из досок (прикрепленная к потолку избы на петлях, ремнях или веревках), которой закрывают топку печи, откуда поступает жар, ускоряющий просушку ложек’ (в ложкарном производстве) (горьковские говоры).

Во всех словарях литературного языка, вышедших после Словаря Ушакова, слово *закром* отнесено к нейтральной лексике и представлено в значении ‘отгороженное место в зернохранилище или амбаре для хранения зерна (муки)’.

Но в настоящее время *закром* используется в литературном языке не только в этом значении. Данным словом называют место хранения самых различных продуктов земледелия: зерна, овощей, технических культур и т. д. В «Энциклопедическом словаре» *закром* имеет такое определение: ‘отгороженное досками место в амбаре или овощехранилище в виде неподвижного ларя; служит для сыпки зерна, закладки овощей и пр.’. Кроме того, это слово теперь преимущественно употребляется в форме множественного числа. Например: «Ни на минуту не стихает борьба за хлеб. Мощные „Нивы“, „Колосы“ бороздят желтые пшеничные поля. Поток идет хлеб в закрома, заготавливаются грубые корма для животных» («Социалистический Донбасс», 16 августа 1977); «Почти на полкилометра тянется склад-гигант. Его закрома, расположенные в два яруса, вмещают 32 тысячи тонн картофеля и овощей» («Вечерняя Москва», 25 сентября 1969); «Он поздравил тружеников полей с доставкой в закрома Родины первой партии „белого золота“» [хлопка.— В. Ф.] («Сельская жизнь», 26 августа 1977).

В языке художественной литературы иногда можно встретить слово *закрома* в образном употреблении:

Я пришел от земли
к закромам ее горным,
Ни себе и ни ей
этим не изменил.
На ладонях моих —
угля черные зерна.
Знать, шахтером навек
он меня окрестил.

И. Билый. Я пришел от земли

В связи с социальными изменениями, происшедшими в нашей стране, в результате которых собранный урожай идет не в отдельные амбары и склады, принадлежащие тем или иным лицам, а на государственные заготовительные пункты и в хранилища, в языке газет возникли устойчивые словосочетания *закрома Родины*, *закрома государства* и *государственные закрома*.

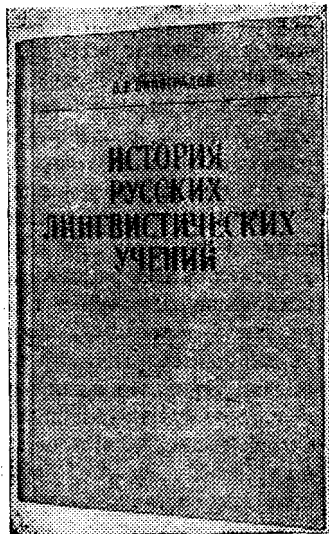
В. А. ФИЛАТОВ

В. В. Виноградов

**ИСТОРИЯ РУССКИХ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ**

Время, минувшее после смерти академика В. В. Виноградова, показало, что труды этого замечательного ученого, вошедшие теперь в историю русского языкознания, не стоят как памятники науки, а находятся в центре живой научной мысли. Их читают и изучают ученые и студенты-филологи, писатели и литературоведы, все, кому дорог русский язык.

Посмертно опубликованы издательством «Наука» уже четыре тома из задуманного пятитомного собрания «Избранных трудов» ученого: «Исследования по русской грамматике» (М., 1975), «Поэтика русской литературы» (М., 1976), «Лексикология и лексикография» (М., 1977), «История русского литературного языка» (М., 1978). Осуществлено также второе издание книги «Русский язык» (М., «Высшая школа», 1972). Издана не публиковавшаяся при жизни монография «О теории художественной речи» (М., «Высшая школа», 1971), напечатан ряд статей в разных журналах и сборниках. И вот, наконец, вышла в свет «История русских лингвистических учений» (М., «Высшая школа», 1978. Составитель и автор комментариев проф. Ю. А. Бельчиков),



Отличительной чертой В. В. Виноградова как исследователя и автора было внимательное изучение отечественной литературы, касающейся анализируемой темы, изложение взглядов предшественников в виде обзора литературы, параграфа статьи или раздела книги. Внимание к ученым-предшественникам выливалось и в желание представить развитие отечественной науки вообще, показать историческое значение русского и советского языкознания, его национальную самобытность, соответствующую самобытности самого русского языка. Так, специально истории русского языкознания посвящены работы: «Современный русский язык» (М., 1938), «Русская наука о русском литературном языке» («Ученые записки МГУ», 1946), «Из истории изучения русского синтаксиса» (М., 1958), «Проблемы литера-

турных языков и закономерностей их образования и развития» (М., 1967) и др.

Составитель рецензируемой книги взял на себя нелегкий труд, с которым блестяще справился. Из громадного материала, изложенного не только в крупных книгах, но и в отдельных статьях, собраны наиболее цельные и полные описания взглядов крупнейших русских лингвистов.

Помещенные в настоящей книге исследования дают достаточно ясное представление о глубоко продуманной, исторически выверенной концепции развития отечественного языкознания, разработанной В. В. Виноградовым. В основе этой концепции лежит целостное лингвистическое учение выдающегося советского лингвиста, характеризующееся подлинным историзмом, систематичностью в описании и истолковании языкового материала.

В большой вступительной статье «О работах академика В. В. Виноградова по истории русского языкознания» профессор Ю. В. Рождественский аргументированно представил В. В. Виноградова как теоретика языкознания, вписавшего важную страницу в развитие современной мировой лингвистической мысли. Лингвистика понимается не только как изучение конкретного языка (или языков), но и как наука о самих описаниях и исследованиях, оцениваемых с позиции общественно-языковой практики. При этом возникают национальные школы, различающиеся своеобразием проблематики и отправными идеями. Становление русской лингвистической школы в значительной мере связано с именем В. В. Виноградова. Одним из первых ученых усвоил специ-

фику русского языка современности, в частности его международный и мировой характер, и смог поставить ее в органическую связь с историей языка и историей народа. Описывая систему русского языка, В. В. Виноградов представлял его в общелингвистических категориях. «Нормативу русского языка был придан межнациональный характер, при полном сохранении его национально-языковых свойств», — пишет Ю. В. Рождественский.

Материалы в книге для удобства пользования распределены по пяти разделам: «Из истории грамматических учений» (в основном изложение синтаксических теорий М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, И. А. Бодуэна де Куртэна, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы), «Из истории изучения лексикологии и семасиологии» (о работах А. А. Потебни, Н. Г. Чернышевского, М. М. Покровского, В. И. Чернышева), «Из истории изучения стилистики и культуры русского языка» (труды М. В. Ломоносова и ряда советских ученых, прежде всего Г. О. Винокура и А. И. Ефимова), «Из истории изучения развития русского литературного языка» (об изображении истории русского литературного языка А. А. Шахматовым и некоторыми другими дореволюционными учеными, о работах Б. А. Ларина), «Пути развития науки о русском литературном языке» (исторический очерк русского языкознания и статья о роли В. И. Ленина в развитии советской филологии).

Пользование такой удачной хрестоматией облегчают четко и умело составленные коммен-

тари, в которых даны весьма полезные справки об упомянутых в тексте ученых, а также краткие библиографии к каждой теме. В этом плане комментарии хорошо согласуются с недавно вышедшими полезными справочными изданиями: Ф. М. Березин. Русское языкознание конца XIX — начала XX в. (М., 1976); М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды (т. т. I—III. Минск, 1976—1978).

Интерес к движению отечественной языковедческой мысли, как уже замечено, не случаен и плодотворен. Собственно, этот интерес во многом удовлетворяет рецензируемая книга.

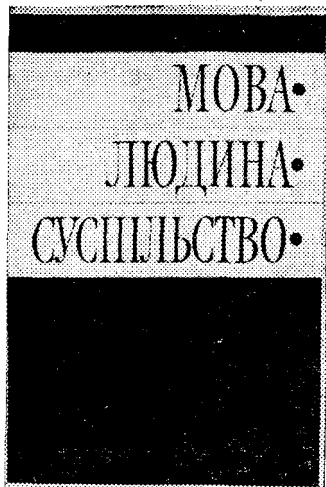
В истории науки о русском языке с начала XX столетия (после фундаментального «Очерка истории языкознания в России» С. К. Булича) столь разностороннего освещения русской лингвистической мысли в ее поступательном движении по существу не предпринималось (если не считать, конечно, упомянутой работы В. В. Виноградова «Русская наука о русском литературном языке»).

В. Г. КОСТОМАРОВ

НОВЫЙ ТРУД ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ

В последние годы в исследованиях отдельных ученых и целых научных коллективов все большее место занимает проблематика, связанная с теорией и практикой языкового развития в нашей многонациональной стране.

Так, украинскими языковедами подготовлен коллектив-



ный труд «Язык. Человек. Общество» (Мова. Людина. Суспільство. Київ, 1977), где в социолингвистическом ракурсе ставятся и рассматриваются многие кардинальные проблемы науки о языке. Книга состоит из краткого предисловия, пяти разделов и списка литературы, цитируемой в тексте.

Первый раздел «Развиток национальных мов і научно-технічний прогрес» (авторы: В. М. Русановский, М. А. Жовтобрюх, Г. П. Ижакевич и В. С. Перебийнос) посвящен актуальным проблемам языкового развития в нашу эпоху. Рассматривая их, авторы подчеркивают благотворное влияние национальных языков друг на друга. Особенно велика роль русского языка — важнейшего источника пополнения других литературных языков словами и оборотами речи. Но и в русский язык, как справедливо отмечают авторы, проникает немало лексических единиц из других языков. Приводятся

такие украинские заимствования, как *запал, шлях, вечерять, цыгарка, дужка, болячка, стержка, скарб, ярмо* и другие.

Авторы специально останавливаются на основных тенденциях развития украинского литературного языка, на особенностях его становления, роли в расцвете культуры украинского народа.

Во второй части раздела кратко освещаются вопросы распространения языка межнационального общения, а также социальные проблемы языка, возникающие в эпоху научно-технической революции. Выдвигаемые авторами положения иллюстрируются фактическим материалом.

Во втором разделе книги «Походження мови і спорідненість мов» Н. П. Романова, Г. И. Никулин, В. Т. Коломиец, Т. К. Черторизка и И. Ф. Андерш рассматривают большой круг вопросов, связанных с возникновением и распространением языков мира, их классификацией, взаимодействием славянских (в частности, русского и украинского) языков.

Особый интерес представляет обсуждение вопросов возникновения и функционирования вспомогательного языка международного общения — эсперанто — в современном мире. Этой проблеме до последнего времени языковеды уделяли незаслуженно мало внимания. Несмотря на некоторую бледность социологического фона (а он в данном случае чрезвычайно важен), данная глава довольно полно рисует картину состояния проблемы «искусственного» языка международного общения.

Большой круг «Проблем культуры мови» обсуждают в наиболее обширном, третьем разделе И. К. Белодед, С. Я. Ермоленко, А. В. Лагутина,

Г. М. Гнатюк, М. М. Пилинский, А. А. Бурячок, И. Р. Вихованец, А. И. Багмут, Н. Г. Озерова, Н. П. Плющ и В. В. Жаворонок. Наряду с теоретическими они ставят и решают практические вопросы культуры украинской речи в ее письменной и устной разновидности, а также вопросы культуры русской речи на Украине. В данном разделе читатели найдут большой и интересный материал, свежие мысли и положения по многим обсуждаемым проблемам, таким, как: эстетические функции речи, соотношение функциональных стилей, слова и контексты, строение фразы в устной и письменной речи, культура публичных выступлений и т. п.

Авторами четвертого, небольшого раздела, «Стилистика мови» явились Л. Г. Скрипник, Г. М. Колесник и Л. О. Родина. Здесь рассматриваются фразеологические обороты украинского языка, слово в поэтических автографах П. Г. Тычины, язык науки и др. При этом авторы делают ряд тонких наблюдений над стилистическим развитием украинского литературного языка.

Наконец, последний раздел книги «Мова — предмет наукового дослідження» написали Л. С. Паламарчук, Л. А. Юрчук, Л. Т. Масенко, М. П. Муравецка, В. С. Перебийнос, В. Ю. Франчук. Авторы исследуют проблемы различных словарей, особенно подчеркивая значение большого одиннадцатитомного словаря украинского языка, над созданием которого долгие годы трудится многочисленный коллектив лингвистов-лексикографов Института языковедения АН УССР.

Перед редакционной коллегией стояла нелегкая задача по подготовке столь большого

коллективного труда, и решена она успешно.

Книга «Язык. Человек. Общество» рассчитана на широкий круг читателей и тесно примыкает к ранее опубликованным на Украине социолингвистическим трудам, таким, как книги И. К. Белодеда «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР» (Киев, 1962), «Развитие языков социалистических наций СССР» (Киев, 1969), «Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе» (М., 1972). «Язык и идеологическая борьба» (Киев, 1974), монография Г. П. Ижакевич «Украинско-русские языковые связи советского периода» (Киев, 1969), коллективные труды «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР» (Киев, 1976) и «Традиции русского языкознания на Украине» (Киев, 1977) и др.

Не может не радовать факт, что на Украине формируется солидная социолингвистическая школа, краеугольным камнем которой несомненно служат многочисленные исследования академика И. К. Белодеда. Наиболее характерными чертами этой нарождающейся научной школы, на мой взгляд, являются четкие методологические позиции, базирующиеся на марксистско-ленинском учении об общественном развитии; стремление к наиболее полному учету широкого социального фона, на котором происходит языковое развитие; глубокое понимание ленинского принципа абсолютного равноправия всех народов и всех языков в советском социалистическом государстве; стремление к всестороннему и глубокому исследованию социолингвисти-

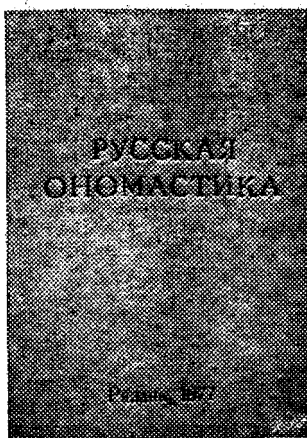
ческих проблем развития украинского языка; изучение проблем взаимодействия украинского языка с языками других братских народов, в особенности русским, белорусским, а также молдавским; всестороннее изучение многочисленных вопросов распространения языка межнационального общения в советских республиках и, в особенности, на Украине; постановка и решение научных и практических проблем, возникающих на пути плодотворного взаимодействия и взаимообогащения украинского и русского языков.

Все эти важнейшие особенности все ярче проявляются в работах большой группы украинских социолингвистов, свидетельством чего может служить и их новый труд, значение которого выходит далеко за пределы Украины. В связи с этим хотелось бы высказать пожелание о его переводе и публикации на русском языке.

М. И. ИСАЕВ

«РУССКАЯ ОНОМАСТИКА»

Наука о русских собственных именах получила еще одну книгу — сборник «Русская ономастика» (Рязань, 1977). В предисловии к нему профессор В. Д. Бондалетов указывает, что многие статьи этого сборника развивают идеи В. А. Никонова, а некоторые из работ начаты непосредственно по его инициативе. Поэтому авторы с признательностью посвящают свой труд 70-летию Владимира Андреевича и желают ему по-



вых выдающихся успехов на благо отечественной науки.

«Задачи ареального изучения ономастического материала, методы топонимических и антропонимических исследований, общие вопросы ономастической теории, ономастика и история, ономастика и география, ономастика и диалектология, ономастика в художественной литературе — вот далеко не полный перечень направлений, которым посвящены работы В. А. Никонова», — говорится во вступительной статье.

Сборник «Русская ономастика» состоит из 28 статей, объединенных в три раздела. Первый из них — «Антропонимика» — открывается работой Ю. А. Федосюка «К вопросу о принципах составления этимологического словаря русских фамилий». Высоко оценивая «Опыт словаря русских фамилий», составляемый В. А. Никоновым, автор говорит о том, что для отнесения фамилии к русской необходимо не только её русское оформление, но и распространение этой фамилии среди русских или же

преимущественно среди русских. Думается, что с этим следует согласиться.

Сопоставительно-диахроническое и синхронно-составительное изучение антропонимов представлено статьей В. Д. Бондалетова «Русский именной прежнее и теперь» и статьей Т. В. Бахваловой «К изучению истории личных имен в конце XIX в.». Статья В. Д. Бондалетова интересна тем, что в ней использован количественно-качественный метод сравнения именных, являющий собой модификацию «метода расстояний» В. А. Никонова. Таким образом, антропонимисты получают возможность выбирать метод исследования, сравнивать результаты, что, конечно же, немаловажно. Метод, предложенный В. Д. Бондалетовым, использован и другими исследователями (см. статью Т. А. Закачичевой в этом же сборнике). Наблюдения В. Д. Бондалетова проводятся на большом фактическом материале.

Т. В. Бахвалова, рассматривая именные города Череповца с 1882 по 1892 год, сопоставила свой материал с уже опубликованными данными В. Д. Бондалетова по антропонимии Пензы за это же время. Несмотря на значительную удаленность городов, именные, в основном, повторяют друг друга. Специфику именных создают редкие имена.

Современная антропонимическая система говора, различные структуры наименований, их компоненты и функции представлены в статье Е. Ф. Данилиной «Антропонимия одного говора. (Имена)», в которой автор рассматривает имена людей в зависимости от сферы общения: в пределах всего коллектива

населенного пункта или в кругу родственных семей. Структурные разновидности имен, их восприятие в этих системах, как правило, различаются.

Принципы номинации в прозвищах (род занятий, быт, местожительство, физические, психические и другие особенности прозвищ типа *Тыква*, *Буржуй*, *Нужда*, *Сахалиника* и т. п.) исследуются в статье Н. В. Ардеевой «Принципы номинации в современных прозвищах лиц», а оценочно-характеристические (типа *Утюг*, *Атаман*), отфамильные (типа *Дружок* от *Другов*) и другие детские прозвища и их восприятие — в статье З. Н. Никулиной «О социальной оценке прозвищ».

Ряд статей посвящен исторической антропонимии. И. Д. Воронин и Г. В. Еремин в статье «Зачатки антропонимии в первых городах западной части Пензенской области» рассматривают антропонимию первых жителей городов Верхний Ломов, Нижний Ломов, Керенск и на основании архивных документов устанавливают, что уже в первой половине XVII века русские служилые, вольные и посадские люди имели, кроме имени и отчества, фамилию (прозвище, как тогда называли). Однако нередко в те времена их записывали только по имени и отчеству.

Интересны статьи Т. А. Закачкиковой, анализирующей антропонимию десятен XVI—XVII веков. В статье «Антропонимия пензенских десятен XVII в.» автор устанавливает, что в конце XVII века некалендарные имена (*Богдан*, *Ждан*, *Милован* и др.) еще функционировали наряду с календарными, среди которых самым частым было имя

Иван. Отчества образованы от личных имен в полной форме с суффиксами *-ов* (*-ев*), *-ин*, отчеств с суффиксами *-ич*, *-ович* (*-евич*) в анализируемых десятиях не встретилось. В статье «К изучению географии неканонических имен в XVI—XVII веках» Т. А. Закачкикова дает всесторонний анализ неканонических имен. Нельзя не согласиться с автором в том, что десятии — очень важный источник для изучения антропонимии, но только не в географическом аспекте, так как бесчисленные перемещения служилых людей с одной территории на другую резко исказили картину.

Анализ топонимов типа *Ванево*, *Ваньки*, *Гришунево* как источника для изучения неполных и оценочных имен прошлого на материале Пермской области сделан в статье Е. Н. Поляковой «Источники изучения русских неполных и оценочных имен прошлого».

Статьи Т. И. Сурковой «Псевдонимы как особый тип антропонимов» и «Номинация в псевдонимах русских писателей XIX—XX вв.» убеждают в том, что специфику псевдонимов определяет прежде всего желание скрыть истинное имя, хотя в разных случаях это вызывается разными причинами. Номинация псевдонимов — процесс сознательного выбора слов или словотворчества, и литературные псевдонимы русских писателей — лучшее свидетельство этого разнообразного процесса.

В данном разделе помещена статья Г. И. Петровичевой «Названия жителей населенных мест Верхнего Поволжья», в которой рассмотрены различные названия: *ивановец*, *кимряк*, *шуйнин*; *ростовцы* и *ростовчане*; «житель

села Гари», митинские и т. п.

Интересны статьи по современной и исторической топонимии, представленные в разделе «Топонимика». В статье «Белая Русь Волго-Окского междуречья» Н. Д. Русинов, основываясь на диалектологических материалах русских и белорусских говоров, присоединяется к утверждению В. Н. Татищева, что название Белая Русь когда-то относилось ко всем землям кривичей или их потомков, то есть к территории севера Волго-Окского междуречья.

Несколько статей этого сборника анализируют топонимию и микротопонимию различных городов. Л. Л. Трубе в статье «Топонимическая система города (на примере города Горького)» ставит вопрос о сохранении определенной системы при именовании улиц и площадей города с учетом специфики района; автор считает целесообразным давать соседним улицам названия, близкие по смыслу: одноименные объекты, по его мнению, должны находиться по соседству, а не в разных концах города. Л. В. Вахрушева и Н. С. Качалина в статье «Микротопонимия г. Ижевска» и В. В. Тикшаева в статье «Микротопонимия Кузнецка» анализируют мотивы названия микротопонимов (названий улиц, площадей, переулков) и призывают бережно относиться к именам, которые всегда исторически обусловлены и, по удачному выражению К. Паустовского, являются «народно-поэтическим оформлением страны». Словообразованию топонимов и микротопонимов посвящена также статья И. Д. Ардеева «Русская топонимия Пензенской области». О происхождении названий населенных

пунктов Пензенской области пишет Н. А. Кузнецова: «Названия населенных пунктов антропонимического происхождения (на материале Пензенской области)» и «Названия населенных пунктов Пензенской области, образованные от гидронимов».

Статьи И. В. Власовой и В. И. Тагуновой относятся к ареальной топонимике. И. В. Власова («Топонимы на -иха в Северном Заволжье») подтверждает мнение В. А. Никонова о том, что основной очаг топонимов типа Бычиха, Некрасиха «находится в Ивановской, Владимирской, Костромской, Горьковской областях с центром между Волгой и Клязьмой и что распространение их здесь было связано с русской колонизацией этой территории». В. И. Тагунова («Топонимы с сочетанием -хр в основе») предлагает для объяснения этих топонимов выйти за пределы Севера и Окского бассейна и привлечь для анализа подобный материал, отмеченный на территории Сибири, Ирана, Индии, Алжира и других регионов мира.

В разделе «Ономастика в художественной литературе» помещено шесть статей Г. А. Силаева («О содержании понятия „литературный антропоним“») доказывает, что литературными антропонимами следует считать собственные имена, не только созданные писателем, но и имена реальных исторических лиц, являющихся действующими лицами произведения.

Подробно рассматривает особенности значения литературных собственных имен, их отличие от нелитературных Л. И. Андреева в статье «Семантика литературного антропонима».

С функциями перифраз и их отношением к собственным именам, то есть с перифрастическими заменами личного имени (например, Ю. А. Гагарин — *первый космонавт Земли*, К. Э. Циолковский — *отец русской космонавтики*) знаменит статья «Перифрастические замены личных имен» С. Я. Макаровой.

Анализ конкретного материала сделан в статьях Г. А. Силаевой, А. В. Пузырева и М. Н. Морозовой. Г. А. Силаева («Фамилии в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»») устанавливает, что фамилии вымышленных персонажей Л. Н. Толстой создавал, используя уже существующие, видоизменяя их или создавая свои по моделям реальных. В результате фамилии вымышленных персонажей у Толстого удачно соотношены с фамилиями реальных исторических лиц, чем достигается, по словам В. В. Стасова, «искусная безыскусственность» в именовании персонажей, к которой стремился писатель.

А. В. Пузырев («Словообразование имен собственных в поэмах В. В. Маяковского») касается употребления поэтом собственных имен во множественном числе (Крупны и Крупники), имен с суффиксами субъективной оценки (Сашка, Ванька, Аратик, Михайльчик), происхождения имен и отчеств (Владим Владимыч) и подтверждает мнение И. М. Подгаецкой о том, что использование выразительных возможностей собственных имен (в частности, их словообразование и формообразование) в поэмах В. В. Маяковского идет в общеязыковом русле, и лишь в ряде случаев связано с особенностями поэтической речи.

М. Н. Морозова в статье «Поволжская топонимия в русской художественной литературе» обращает внимание на то, что топонимы в художественной литературе, кроме своей основной функции быть средством пространственной ориентации, могут выполнять идейно-эстетическую задачу раскрывать отношение автора к изображаемому, характеризовать быт, выражать определенное мировоззрение. В качестве материала для анализа использованы примеры из произведений А. М. Горького, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского и других писателей.

В. Д. Бондалетов справедливо замечает, что не все высказанные авторами статей положения воспринимаются как бесспорные, но, несомненно, что каждая из них представляет свежий фактический материал, и это делает сборник интересным и полезным для специалистов и широкого круга читателей. Следует отметить и то, что все представленные материалы опираются на многие предшествующие исследования. Почти все авторы обращаются к трудам В. А. Никонова, с одними положениями его работ они соглашаются, подтверждают их своими материалами, с другими спорят, высказывают свои замечания. Именно такому аналитическому подходу к материалам исследования учит сам Владимир Андреевич Никонов.

М. К. ШАРАШОВА

ИЗ СЛОВАРЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Продолжение. См.: 1976, №№ 1—6; 1977, №№ 2—6;
1978, №№ 1—6

Продолжая публикацию материалов из будущего «Словаря русских фамилий» В. А. Никонова, редакция выполняет пожелания многочисленных читателей «Русской речи». За 1976—1978 годы в журнале помещены выборочно фамилии на буквы *Б — П* (2300 фамилий на *А* даны в четырех томах ежегодника «Этимология», 1970—1975 гг.). Опубликованные материалы — лишь малая часть составляемого Словаря (около 1%). Естественно, что далеко не каждый в опубликованных материалах может найти ответ на вопрос о происхождении своей фамилии. Чтобы, по возможности, удовлетворить запросы наших читателей, мы решили включить в очередную статью и ответы на письма, поступающие в редакцию. Напоминаем также, что несколько тысяч фамилий объясняет словарь Ю. А. Федосюка «Русские фамилии» (М., 1972).

■ Абсолютное большинство русских фамилий — бывшие отчества в форме притяжательного прилагательного, образованного суффиксами *-ов* (его фонетический вариант *-ев*) или при основе на *а -ин*. Преобладающие основы отчества — самые разнообразные формы от канонических, то есть церковных, мужских личных имен (из имени Иоанн насчитано более ста производных форм, а от них образовались отчества, позже закрепленные в фамилии: Иванов, Иванушкин, Иванищев, Иваичков; Ванин, Ванькин, Ванюхин, Ванюшин, Ванюшкин; Ивашин, Ивашкин, Иващенко и т. п.), прозвища и нецерковные имена (из них Жда-

нов, Пушкин), именованя отца по занятию (Кузнецов, Плотников) или по местности (Казанцев, Москвитин) и другие. Гораздо реже образуются фамилии непосредственно из именованя, то есть минуя ступень отчества, нередкие у чехов, украинцев и ряда других народов; их источники те же: прозвища (Гоголь), именованя по местности (Казанский, Москвитин) и проч. Много фамилий из диалектных основ и заимствованных из других языков, особенно часты украинские, польские, тюркские, мордовские, армянские, грузинские. Некоторые фамилии живут в неузнаваемо искаженном виде (Страханцев вместо Астра-

ханцев, Охромеев из Варфоломеев, а Леваидовы вместо Леонидовы в переписи 1897 года почти норма по некоторым уездам). Эти изменения нельзя рассматривать как докучные помехи, а надо изучать. Приведенные изменения образуют самостоятельные языковые факты, существующие и в живой речи, и в официальном употреблении, некоторые — на протяжении столетий (например Иванов через Иван от Иоанн, которое в свою очередь явилось результатом предыдущих изменений).

Давно отмечено: от нарицательных *телега*, *ворона* нет и не может быть притяжательных *телегин*, *воронин*. Откуда же взялись фамилии *Телегин*, *Воронин*? А основы этих фамилий не *телега* и *ворона*, а *Телега* и *Ворона* — мужские личные имена. Основа фамилии *Зайцев* не *заяц*, а отчество *Зайцев*, образованное от мужского имени *Заяц* (в словаре древнерусских имен Н. М. Тупикова по тем документам, которые он использовал, перечислены 34 человека с этим именем). Между *заяц* и *Зайцев* — два промежуточных звена: *Зайцев* ← *зайцев* ← *Заяц* ← *заяц* ← *заяти*... Бессмысленно выхватывать дальнейшее звено, тогда можно идти еще дальше: *заяц* — из глагола *заяти* 'прыгать' и так далее до «самого первого» слова.

На вопрос «что значила основа фамилии Гамзин?» можно ответить только вопросом: а где она возникла? Глагол *гамзить* означал на псковщине 'портить', в Лукояновском уезде 'торопить', а в Кинешемском 'бранить'. Это не исключение, таких ловушек в фамилиях не сотни, а тысячи.

Слова и их значения исторически изменчивы. Фамилию *Бригадиров* никак нельзя свя-

зывать с современным нам словом *бригадир*, она возникла не сегодня и означала крепостного, принадлежащего офицеру в чине между полковником и генералом.

Так, даже для извлечения этимологии необходимо понимание ономастических закономерностей, знание территориальных и хронологических условий. Но выявление этимологии вовсе не единственная и часто не главная задача изучения фамилий. И независимо от их этимологии они — драгоценный источник по истории народа. Встречая на отдаленных друг от друга территориях одну и ту же группу фамилий, отсутствующих в других местностях, можно определить маршруты миграций. Сохраняя архаичные фонетические и словообразовательные черты, утраченные вне ономастики, фамилии дают важные свидетельства по истории языка. Поэтому ценность фамилии для науки обусловлена указанием места и даты.

Прудников. Отчество от именования отца по занятию: в смоленских говорах *прудник* 'мельник'.

Псковитин. Именование по местности, в которой записан на военную службу и получил за это землю. Фамилии на *-итин* часты от названий городов Московского государства XV—XVI веков (Ворейтин, Костромитин, Московитин, Ржевитин и другие).

Пудиков. Происхождением этой фамилии интересуется наш читатель Г. Бобров (г. Лабинск Краснодарского края). Отчество от уменьшительной формы Пудик из канонического мужского имени Пуд (древнеримск. происхождения — из латин. *pudeo* 'стыдиться'; и

русской мере веса имя не имело никакого отношения).

Пяткин. Отчество от формы Пятка — 'пяткин сын' из нецерковного мужского имени Пятый, то есть пятый ребенок в семье, и уничижительного суффикса *-к(а)*. С нарицательным *пятка* (задняя часть ступни) имя никак не связано.

Радищев. Отчество от форм Радиш или Радище, возможных из древнерусских нецерковных мужских имен Радмир, Ратибор и др. В Новгороде (1260 г.) летопись зафиксировала мужское имя в форме Радища. Буква *щ* передает и *шч*, и *шш*. Не менее вероятна форма Радище из канонического мужского имени Родион: в период формирования фамилий людей не дворянского происхождения именовали с уничижительным формантом *-ка*, а духовенство несколько отличали — к именам священников добавляли *-ище*, а не *-ка* (поп Иванище).

Разамасцев. Фамилия документирована в селе Шеино (Керенского уезда Пензенской губ., 1917). Искажение из Арзамасцев — отчество от именованности отца *арзамасец* по местности — г. Арзамас (ныне в Горьковской обл.), который в XVII веке был значительным военным и экономическим центром большой территории.

Разгильдиев. (в документах прошлого — Разгильдеев, Разгилдеев). Отчество, возможно, от прозвища (из нарицательного) со значениями 'неряха, оборванец, лентяй, беспутный, бродяга'. Этимологию слова легко предположить — 'исключенный из гильдии' (подобно *распопа* 'бывший поп' — см. Распопин), *гильдия* — словесная организация купечества. Но в России термин *гильдия* введен только при Петре I, а примеры имен гораздо стар-

ше: Разгильдей в Коломне (1577), енисейский казак Разгильдеев (1677). Напрашивается сходство с тюркским мужским именем *Оразгелды* (*Уразкельди* и другие формы) из ораз (*ураз*) — месяц мусульманского поста, *кельди* (*гелды*) 'пришел'. Но какова связь русского прозвища с этим именем? В документе 1614 года значится темниковский татарин Бегит Розгильдеев (Архив Морд. Научно-исследовательского Ин-та). Фамилия документирована в Забайкалье — станица Аквишская (1887), в Благовещенской волости Туринского уезда (1897), есть и в Москве.

Ракчев. Фамилия документирована в деревне Криуши Калужского уезда (1913), в селе Поповка Алексинского уезда Тульской губ. (1916). Искажение — утрата начального гласного из фамилии Аракчев, тюркоязычного происхождения, где *аракчи* 'производящий водку' и 'пьяница'. Фамилия могла обозначать крепостных, принадлежащих Аракчеву.

Рамзаев. Рамзин. Отчество от мужского имени Рамзай. Предполагали тюркоязычное происхождение фамилий — из татарского мужского имени Рамзи — араб. *рамз* 'знак, символ'. Но возможно из мордовских языков — эрзянский и мокшанский *рамсемс* 'покупать', мордовский — *ай* — показатель звательной формы. На территории прежнего расселения мордвы есть топонимические следы этого имени: с. Рамзай близ Пензы, д. Рамза на юго-востоке Горьковской области. Фамилия Рамзаев зафиксирована в Ключевской волости Пензенской обл. у русских, а также и у мордвы в с. Сабаново Городищенского уезда.

Распопий. Распопов. Отчества от именованний *распопа* и *распоп* — 'бывший поп', то есть лишенный духовного сана священник. Отчества выражены формой притяжательных прилагательных, образованных суффиксами *-ин* (при основе на *-а*) и *-ов* (при других основах).

Распутин. Отчество от прозвища *Распута*, нередкого в старину: крестьянский сын *Распуга* — 1560 год, *Распуга Клементьев* в Вологодском уезде — 1619 год и другие; можно увидеть момент образования отчества — будущей фамилии: в Кижском погосте на Онежском озере (1678) записаны *Распутко Матвеев* и сын его *Савка Распутин*. Из нарицательного *распуга* 'безправственный, непутевый'. Фамилия часта на Севере (в Онежском, Холмогорском и Шенкурском уездах Архангельской губернии при переписи 1897 года несколько сотен человек носили эту фамилию), на Урале и в Зауралье.

Ратников. Отчество от именованья отца *ратник*. Ко времени массового формирования фамилий это слово, ранее означавшее воина вообще, стало официальным термином, означавшим зачисленного в запасные солдаты ополчения на случай войны.

Рахимов. Образованная суффиксом *-ов* по русской модели фамилия от мусульманского имени отца *Рахим* из арабского *рахим* 'милостивый' — один из эпитетов Аллаха.

Рахманинов. Происхождение фамилии спорно. В старину слово *рахманный* имело самые противоречивые значения в русских говорах: в псковских и западных 'тихий, кроткий, смиренный, ручной', на юг от Москвы 'вялый, хилый; скучный, простоватый, глупова-

тый, нерасторопный', а северней и восточней 'веселый, разгульный; хлебосольный; щеголь' (См. Словарь В. И. Даля). Возможна связь с мусульманским мужским именем *Рахман* из арабского 'милосердный'. Академик А. И. Соболевский, возражая Ф. Миклошичу, настаивал на происхождении этого слова из Индии, где *брахманы* — жрецы Браммы в религии браманизма (брахманизма) («Русский филологический вестник», 1910, № 3—4). Действительно, на Руси были распространены списки фантастических сочинений, где упомянуты брахманы и народные представления, в которых они высмеяны. Но слишком частыми были имена: *Рахманин Тюлений* в Москве 1501 года, *Рахманин Яковлев* (1555), московские дворяне *Рахман Дмитриев*, *Рахман Житково* (1565), *Неклюд Рахманинов сын* (1559), их немало привел и Н. М. Тупиков в «Словаре древнерусских личных имен» (1903). Рахманины в Юромской и Дорогорской волостях Мезенского уезда Архангельской губернии (1897). Рахмановы в с. Монастырщина Епифанского уезда Тульской губернии.

Ревякин. Отчество от прозвища *Ревяка* из *реветь* 'громко и протяжно кричать; громко рыдать'. В 1539 году — стародубский крестьянин *Ревяка*, в 1667 году — *Харитон Ревякин* в Клину (может быть, еще отчество или уже фамилия). Фамилия документирована в селе Милорадовка Николаевского уезда Самарской губернии (1897), в Алексинском уезде Тульской губернии (1916), есть и в Москве.

В. А. НИКОЛОВ

Продолжение следует

■ ОРДЕНА И ИХ НАЗВАНИЯ

16 сентября 1918 года был учрежден первый советский орден — орден Красного Знамени. Самые отважные воины Красной Армии, выдающиеся военачальники получили эту высокую награду за защиту молодой Советской власти от белогвардейцев и интервентов. После образования в 1922 году Союза Советских Социалистических Республик Постановлением ЦИК СССР от 1 августа 1924 года был учрежден единый военный орден страны — орден Красного Знамени. У этого военного ордена есть «гражданский брат» — орден Трудового Красного Знамени. Им награждают советских людей за трудовые подвиги.

В настоящее время в Советском Союзе имеются следующие ордена (даются в хронологическом порядке): Красного Знамени (1 августа 1924); Трудового Красного Знамени (7 сентября 1928); Ленина (6 апреля 1930); Красной Звезды (6 апреля 1930); «Знак Почета» (25 ноября 1935); Отечественной войны 1-й и 2-й степени (20 мая 1942); Суворова 1-й, 2-й и 3-й степени, Кутузова 1-й и 2-й степени, Александра Невского (29 июля 1942); Кутузова 3-й степени (8 февраля 1943); Богдана Хмельницкого 1-й, 2-й и 3-й степени (10 октября 1943); «Победа» — высший военный орден, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени (8 ноября 1943); Ушакова 1-й и 2-й степени, Нахимова 1-й и 2-й степени (3 марта 1944); «Мать-героиня», «Материнская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени (8 июля 1944); Октябрьской Революции (31 октября 1967); Дружбы народов (17 декабря 1972); Трудовой славы 1-й, 2-й и 3-й степени (18 января 1974); «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 1-й, 2-й и 3-й степени (28 октября 1974).

Если обратиться к языковой форме названий орденов, то можно увидеть, что большинство из них имеют генитивную форму (в родительном падеже), например: орден *Ленина*, орден *Отечественной войны*, орден *Славы*, орден *Октябрьской Революции*, орден *Дружбы народов*, орден *Трудовой славы*. При этом слово *орден* не входит в состав самого названия. Слова, составляющие основу названий орденов, служат своеобразными символами известных идей и традиций. Поэтому они пишутся с прописной буквы: орден *Трудового Красного Знамени*, орден *Красной Звезды*. Такие названия

не нуждаются в выделении кавычками. Если название ордена уподобляется девизу или цитате, например: «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», то оно заключается в кавычки. Названия орденов, представляющие собой слово или словосочетание в именительном падеже, также пишутся в кавычках, например: ордена «Победа», «Материнская слава», «Мать-героиня».

Для слов, обозначающих названия орденов, медалей и прочих знаков отличия, предлагается термин *фалеронимы*. Он полностью согласуется с известным у историков термином *фалеристика* (от лат. *phalega* 'бляха, которой награждался легионер'). Фалеристика — это молодая отрасль исторической науки, занимающаяся изучением наград: орденов, медалей и др. Термин *фалероним* (*phalega*+*onum* 'имя') входит в один словообразовательный ряд с такими терминами, как *топоним* 'имя места' (географическое название), *антропоним* 'имя человека' и т. д.

Остановимся на способах русской передачи иноязычных названий орденов, которые часто встречаются в художественной литературе, в газетах и журналах. Фалеронимы — это один из многочисленных типов собственных имен. Основная особенность всех собственных имен — отсутствие непосредственной связи с понятиями. Индивидуальная черта, характеризующая именно данную группу собственных имен, — их связь с определенными идеями, символами. Поэтому названия орденов по возможности переводятся: франц. *La Toison d'Or*, англ. *order of the Golden Fleece*, русск. *орден Золотого Руна*; англ. *order of the Holy Ghost*, франц. *St. Esprit*, русск. *орден Святого Духа*. Если в основе названия лежит имя собственное, то название транскрибируется (передается в соответствии с произношением): *орден Франца-Иосифа*, *орден Гогенцоллернов*, *орден Леопольда*, *орден Луизы*, *орден Марии-Терезы*, *орден Мухаммеда-Али*. Не принято переводить латынь; названия польских орденов *Polonia Restituta*, *Virtuti Militari* обычно передают практической транскрипцией: «Полония реститута», «Виртути милитари».

Исходя из традиций русского литературного языка, иноязычным фалеронимам желательно придавать, насколько это возможно, форму родительного падежа. В связи с тем, что в русский язык заимствуются названия орденов из языков с различным строем, в том числе и из языков, не знающих системы склонения, наблюдаются колебания в их русской передаче. Так, очевидно, болгарские фалеронимы лучше передавать в традиционной русской форме: *орден Розы*, а не «Орден Розы»; *орден Красного Знамени*, а не «Красное знамя»; *орден Кирилла и Мефодия*, а не орден «Кирилл и Мефодий» (см. БСЭ, III изд.). В последнем случае получается и не перевод, и не транскрипция, поскольку имя Кирилл по-бол-

гарски пишется с одним *л*, а Мефодий имеет форму *Методий*: болг. Народна библиотека Кирил и Методий (Народная библиотека имени Кирилла и Мефодия).

Указанные изменения названий-фраз необходимы при переходе от языка с одним строем к другому, с иной организацией слов в определительных фразах. Так же при передаче по-русски названий британских орденов следовало бы писать: *орден Почета*, а не Орден почета (слово *орден* не входит в состав данного названия); *крест Виктории*, а не «Крест Виктории» (слово *крест* здесь также лишь сопровождает название, обозначая форму орденского знака). Ср. названия других британских орденов: *орден Св. Михаила*, *крест Военно-Воздушных сил*, *орден королевы Виктории*, *орден Чести*, *орден св. Патрика*. Названия орденов «За безупречную службу» и «За верную службу империи» уподобляются цитатам и нуждаются в кавычках; ордена «Маршальская звезда» и «Мальтийский крест» пишутся в кавычках, потому что имеют форму именительного падежа. Слова *звезда*, *крест* стоят здесь на втором месте и входят в состав названий.

Из всего сказанного следует, что фалеронимы — особые собственные имена, имеющие свои типы и модели, свои традиции письменного оформления.

А. В. Супранская

■ «ОБУЯЛЫЙ» И «ОБУЯННЫЙ»

В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

В этом отрывке из «Медного всадника» А. С. Пушкина встречается слово *обуялый*, которое не отмечено ни одним из толковых словарей русского языка. По своей структуре это слово входит в один ряд с прилагательными на *-лый*: *обвегшальный*, *отоцальный*, *почернелый*, *устарелый*, образованными от глаголов *обвегшать*, *отоцать*, *почернеть*, *устареть*. «Грамматика современного русского литературного языка» (М., 1970) отмечает продуктивность прилагательных этого типа преимущественно в разговорной и художественной речи и подчеркивает, что образуются они от непереходных глаголов «со значением превращения в состояние» (с. 205).

В русской художественной литературе последних лет часто встречаются отглагольные прилагательные, не зафиксированные в толковых словарях русского языка: *заслужденный* (Г. Николаева), *приподальный* (В. Астафьев), *загравельный* (И. Акулов) и др.

Все подобные прилагательные на *-мый* образуются только от переходных глаголов (невозвратных).

Глагол же *обуять*, от которого образовано слово *обуялый*, является переходным. 4-томный «Словарь русского языка», например, так определяет значение этого глагола: «Охватить, овладеть с неуправляемой силой (о чувстве, состоянии)». 2-томный «Словарь синонимов русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой, поместив слово *обуять* в один ряд с *овладеть*, *завладеть*, *одолееть*, *охватить* и др., отмечает: «слова *обуять*, *объять* и *обуревать* обозначают: охватить с неуправляемой силой и употребляются по отношению к какому-либо сильному чувству, страсти и т. п.». Словари приводят примеры употребления этого слова: «Необузданный детский смех и детское веселье обуяло слушателей» (Гл. Успенский); «Юрко Таракуля обуяла жажда деятельности» (Б. Полевой). А вот пример использования слова у А. С. Пушкина: «Надменный! кто тебя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум?» (Наполеон).

Встречаются в литературе и причастия от глагола *обуять*. Действительное причастие *обуявший* использует А. Гайдар: «И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги» (Р. В. С.); причастие страдательное *обуянный* несколько раз употребил А. С. Пушкин:

С а м о з в а н е ц.

Виновен я: гордыней обуянный,

Обманывал я бога и царей,

Я миру лгал...

Борис Годунов

И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!».

Медный всадник

Отглагольные прилагательные на *-мый* обычно легко могут заменяться действительными причастиями на *-вший*: *оцепенелый* — *оцепеневший*, *порыжелый* — *порыжевший* и т. д. В приведенном примере из «Р. В. С.» А. Гайдара причастие *обуявшего* никак не может быть заменено прилагательным *обуялого*, поскольку переходность, сохраняемая формой на *-вший*, не может сохраняться в прилагательном на *-мый*.

В «Медном всаднике» слово *обуялый* по значению соответствует страдательному причастию: в сочетаниях *страхом обуялый* и *обуянный силой* слова *обуялый* и *обуянный* одинаково обозначают

«охваченный, объятый». Но из этих двух форм нормам русского литературного языка отвечает лишь страдательное причастие *обуянный*. Прилагательное *обуялый* образовано от переходного глагола в нарушение словообразовательных законов. На это нарушение указал Л. А. Булаховский в своей книге «Русский литературный язык первой половины XIX века»: «В „Медном всаднике“ у Пушкина встречается и, видимо, неудачно (ср. пассивное значение) образованное им *обуялый*...».

Какие же мотивы побудили А. С. Пушкина создать слово, не соответствующее нормам словообразования?

Проще всего было бы сослаться на необходимость рифмы к слову *генералы*. Но великий поэт обычно не позволял себе в угоду рифме нарушать законы языка. В большинстве случаев, где, казалось бы, в пушкинских строках обнаруживаются нарушения норм ударения, словоизменения, словоупотребления, оказывается, что подобные «нарушения» вполне отвечали нормам XIX века. И если Пушкин счел возможным употребить *обуялый* вместо *обуянный*, то, по-видимому, что-то позволило ему сделать это.

На Пушкина могла оказать влияние диалектная стихия русского языка. Так, известно, что в русских говорах довольно легко смешиваются в речи формы на *-мый* и формы страдательного причастия на *-тый*. Об этом пишет, например, С. П. Обнорский: «...распространение в диалектах страдательных причастных форм на *-тый* (соответственно литературным формам на *-ный*) вызвало появление форм на *-тый* взамен литературных причастий-прилагательных на *-мый*. Ср. *околетую ворону...*» (С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953, с. 212).

Но если форма *-тый* может заменять форму на *-мый*, то становится возможной и обратная замена. Тем более, что, кроме формы *обуянный*, русскому языку была известна и *обуятый*, которая приведена В. И. Далем в его Толковом словаре наряду с *обуянный*. Не следует забывать, что «Медный всадник» Пушкин писал в Болдине. И вполне возможно предположить, что в эту «болдинскую осень» на Пушкина могла оказать влияние свойственная русским говорам тенденция к смешению форм на *-нный*, *-тый*, *-мый*.

Окказиональное образование А. С. Пушкина представляет определенный интерес и с точки зрения сравнительно-исторического изучения славянских языков. В работах чешских лингвистов, изучавших причастия на *-л* в славянских языках, отмечается, что в ряде языков можно встретить случаи смешения «активных» и «пассивных» форм. Так, в польском языке нередки образования, совпадающие по форме со страдательными причастиями, но образованные от непереходных глаголов и потому имеющие активное значение. В то же время в болгарском языке формы с суффиксом

-л образуются и от переходных глаголов, они имеют в таком случае пассивное, страдательное значение. И в польском, и в болгарском языках возникает синонимия форм на -л и на -н (-т), хотя происходит это по-разному. Учеными отмечаются также случаи тождественности форм на -лий и -ний в украинском языке, например в словах *розбуялий* – *розбуяний*, содержащих тот же этимологический корень, что и русские формы *обуялый* – *обуянный*.

Русский литературный язык не знает причастий на -нный (-тый) от непереходных глаголов. Ему чужды также образования на -мый от переходных глаголов. Однако пример из Пушкина со словом *обуялый*, как и диалектное сочетание *околетая ворона*, свидетельствует о том, что и русский язык мог пойти по пути, который в той или иной степени знаком ряду славянских языков.

Кстати, вряд ли следует полностью исключить возможность того, что знакомство с А. Мицкевичем, работа над переводами с польского, интерес к славянским языкам могли также оказать определенное влияние на А. С. Пушкина. Работая над «Медным всадником», А. С. Пушкин обращался среди прочего и к описанию петербургского наводнения А. Мицкевичем. Следует также заметить, что, по свидетельству многих лингвистов, в первой половине XIX века значительно чаще, регулярнее, чем теперь, употреблялись прилагательные на -мый, производные от глаголов совершенного вида и функционально довольно близкие к причастиям прошедшего времени. Об этом пишет, например, Л. А. Булаховский в названной книге «Русский литературный язык первой половины XIX века» (с. 99). Здесь приведено еще одно окказиональное прилагательное на -мый, образованное с нарушением норм русского словообразования. Оно принадлежит поэтессе Е. П. Ростопчиной: «Стран *невидалых* не нужны явленья, Чтобы мечтам дать стремленье моим» (Туда, где жизнь. 1840) – *невидалых* тождественно нормативному *невиданным*. Поэтому вероятность образования «незаконного» образования формы на -мый от переходного глагола в русском литературном языке первой половины XIX века возрастала.

Эти индивидуальные образования представляют собой свидетельство возможного, но не осуществившегося пути развития пассивных значений в прилагательных на -мый.

В. А. Корнилов

Донецк

■ ШПАКЛЕВКА ИЛИ ШПАТЛЕВКА?

В. Л. Семенов (Саратов) пишет: «В современном русском языке, как правило, имеется одно написание слова. Когда же мы сталкиваемся с такими словами как *шпаклевка* и *шпатлевка*, естественно возникает вопрос: нет ли тут ошибки? Словари чаще всего рекомендуют писать *шпаклевка*, но как в таком случае объяснить правильность надписи на коробках с порошком для шпаклевки: „Шпательный порошок“?». Данный вопрос интересует и Н. С. Ханипову из г. Невьянска.

Шпаклёвка в современном русском языке означает процесс замазывания, заполнения трещин, впадин и других дефектов какой-либо поверхности перед окрашиванием, лакированием или полированием, а также замазку, которой обрабатывают эту поверхность. Существует и другой вариант слова с этим значением: *шпатлевка*.

Двойное написание можно объяснить тем, что существительные *шпаклевка* и *шпатлевка* образованы от глаголов *шпаклевать* и *шпатлевать*. В XIX веке в русском языке встречалось также слово *шпадлевка*, производное от *шпадлевать*. В Словаре В. И. Даля глаголы, от которых образовались существительные, приведены без каких-либо разграничений: «Шпад (т,к)левать что, малярн. замазывать и затирать пазы, щели, сучки и жуковины особым составом (на клею и масле), коли что идет под чистую масляную окраску. У кожевнк. спивать огрехи, порезы в коже, так, чтобы скрыть их». Однако, в академическом «Словаре церковно-славянского и русского языка» (СПб., 1847) указан лишь один из вариантов — *шпаклевать*.

Глаголы *шпатлевать*, *шпадлевать* образованы от слов *шпатель*, *шпадель* ‘вид лопаточки, применяемой художниками, аптекарями’; ‘инструмент хирурга и аптекаря’, заимствованных из немецкого языка, по-видимому, через польский.

Можно предложить два объяснения появлению слов *шпаклевка* и *шпаклевать* в русском языке:

1. Глагол *шпаклевать* был образован от существительного *шпахтель*: «Шпахтель, я, м. [нем. Spachtel — шпаклевка] (спец.). То же, что шпатель» (Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова). По фонетическим законам русского языка образование производного слова от *шпахтель* без упрощения группы согласных *шт* невозможно, и поскольку согласный *х* близок по образованию к *к*, то вполне возможна замена *шт* на *к*.

2. Слова *шпадель*, *шпатель* использовались не только «художниками и аптекарями», но и мастерами людьми, весьма далеки-

ми от традиций литературного языка. Они часто переделывали известные слова, придавая им новую форму, а подчас и значение. Слова *шпадель*, *шпатель* стали звучать в их среде — *шпадля*, *шпатля*, а также *шпакля* (Словарь В. И. Даля). *Шпакля*, быть может, было образовано по аналогии со словом *пакля*. Работа с паклей напоминает действие *шпаклевщика*, и возможно, звучание слова *пакля* повлияло на оформление слова *шпакля*, от которого и произошел глагол *шпаклевать*, а последний, как известно, послужил основой для существительного *шпаклевка*.

В русском языке XIX века глаголы *шпатлевать*, *шпаdleвать*, *шпаклевать* были равнозначны. В наши дни картина иная: исчезли слова *шпаdleвать* и *шпаdleвка*, поскольку согласный *д* оглушился и перешел в *т*. *Шпатлевать* и *шпатлевка* фиксируются в нормативном 17-томном «Словаре современного русского литературного языка», но написания с буквой *т* относятся к разряду устарелых. «Политехнический словарь» последнего издания (1976) приводит слово *шпатлевка* как вариант основного слова *шпаклевка*. Отсюда следует, что, хотя оба варианта находятся в пределах литературной нормы, написание с буквой *к* предпочтительнее.

Что же касается написания *шпательный*, это прилагательное образовано от слова *шпатель* при помощи суффикса *н*, и поэтому в нем закономерно пишется буква *т*.

С. В. Редькин

■ НИ ГРАНА — НИ ГРАММА

«В разговорной речи часто можно услышать: „Я сегодня *ни грамма* не уснул“, „Не понимает *ни грамма*, а говорит“. Но ведь правильно говорить *ни грана*», — пишет нам Л. А. Комиссаров (Евпатория).

В словарях русского литературного языка приведено устойчивое сочетание *ни (одного) грана* ‘совсем ничего; нисколько, ничуть’: «В этом нет *ни грана* истины». Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» под редакцией К. С. Горбачевича предупреждает против неправильного употребления слова *грамм* вместо *грац* в этом выражении. Однако в устной речи *ни грамма* распространяется все шире. Особенно много примеров употребления дают народные говоры, где *ни грамма* сочетается с различными по значению существительными и глаголами. Прежде всего это выражение и в просторечии, и в диалектах употребляется в сочетании со словами, обозначающими такие предметы, количество которых может быть определено в весовых единицах: «Хлеба не осталось *ни грамма*»;

«Такая капризная [внучка], не хочет творожку, ни грамма не съела» (записи разговорной речи сделаны в Ленинграде). Здесь значение фразеологизма *ни грамма* отчетливо мотивировано.

Только в диалектах это выражение может сочетаться с названиями предметов, количество которых поддается измерению, счету, но не взвешиванию: «Там ни грамма хуторов нет», «Мужик гожий (то есть 'здоровый, сильный'), а детей у него больше нет ни грамма» (*псковск.*); «Ни грамма штапеля нету», «Купить бы штаны да толстовку для зимы, а она ни грамма не купила» (*рязанск.*). Возможно, именно осознаваемая говорящими «нелогичность» подобных связей слов препятствует распространению такой сочетаемости фразеологизма *ни грамма* в просторечии.

Для фразеологических единиц с количественным значением характерно развитие у них, вследствие расширения сочетаемости со словами ближайшего окружения, более отвлеченного значения степени, интенсивности действия или признака. Эта особенность свойственна и устойчивому сочетанию *ни грамма*: «Сено ни грамма не сохнет»; «Не посидит ни грамма»; «Меня ни грамма не знал, а давал все в долг»; «Большая, длинная, а ума ни грамма» (*псковск.*); «Свинья ни грамма не ходит»; «Одна от другой (девочки-близнецы) не отличаются ни грамма» (*рязанск.*).

Кроме слова *грамм*, в этих сочетаниях могут выступать его суффиксальные производные: *ни граммíны* (*граммíночки*); *ни граммúшки*, *ни граммочки*: «Печеный хлеб вредит другой корове, я хлеба ни граммины не даю» (*псковск.*); «Ни грамминочки соевать не может, сразу покраснеет» (*новгородск.*).

Будучи широко распространенным в диалектах и городском просторечии, это выражение проникает и в язык художественной литературы, прежде всего как отражение прямой и несобственно прямой речи героев литературного произведения. В повести Е. Носова «У святских племоносцы», где действие происходит в Курской области, читаем: «Касьян [...], хватившись курева, вспомнил, что у него нет *ни граммушки*» (количественное значение). В упомянутом словаре-справочнике под редакцией К. С. Горбачевича как пример неправильного употребления приводятся строки из стихотворения В. Корнилова «Шофер»: «Он глядел на меня в упор, Но не врал я ему *ни грамма*» (значение степени).

Каковы же причины столь интенсивного распространения этой речевой ошибки? Слово *гран* 'единица аптекарского веса, равная 0,0622 грамма' (от латинского *granum* 'зерно') употреблялось в нашей стране до введения метрической системы мер и весов и сейчас устарело. Поэтому выражение *ни грана*, содержащее непонятное для многих носителей языка слово, стало немотивированным и легко заменяется созвучным *ни грамма*. Но причи-

ны замены не только в звуковом сходстве, не только в поисках «понятого» слова-заменителя. В системе русского языка, как в литературном языке, так и народных говорах, существует ряд устойчивых сочетаний, образованных в результате метафорического переосмысления указания на что-то очень незначительное по величине, весу, размеру, на мельчайшую частицу чего-либо. В литературном русском языке это выражения *ни маковой росинки* (то есть ни одного зернышка мака), *ни крошки*, *ни капли* (*капельки*): «Ни маковой росинки не дам больше», «С утра ни крошки не ела», «Не устал ни капли». Еще более разнообразны подобные сочетания в диалектах: *ни кро́хи* (*крохтёнки*, *крохт́инки*), *ни капё-лочки*, *ни б́ылочки* (*б́ылка*, *б́ылочка* 'стебелек травы'), (*рязанск.*); *ни крохотки* (*крохоточки*, *крохоти́ны*, *крохт́я*), *ни зёрнушка* (*псковск.*); *ни кáлева* (*кáлево* 'крошка, капелька') (*смоленск.*). Большинство перечисленных сочетаний употребляется и для выражения количества 'совсем ничего, нисколько', и для выражения степени 'ничуть, совсем не'.

Таким образом, выражение *ни грамма* вступает в синонимические отношения с приведенными устойчивыми сочетаниями и не противоречит общим тенденциям развития лексико-фразеологической системы русского языка, хотя пока еще оценивается в словарях как ненормативное.

Л. А. Ивашко

На обложке: П. П. Бажов (1879—1950)

Рисунок Б. Захарова

При перепечатке

ссылка на журнал «Русская речь»

обязательна

Редакционная коллегия:

Н. С. ВАЛГИНА, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, К. В. ГОРШКОВА, В. П. ДАНИЛЕНКО, И. Г. ДОБРДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Ф. П. ФИЛИН

И. о. зав. редакцией С. Т. Парсаданян

Художественный редактор Т. А. Михайлова

Корректоры В. В. Беляев, Г. Н. Шамина

Сдано в набор 12.10.78. Подписано к печати 27.12.78. Т-18394

Формат бумаги 84×108/32. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4 Уч.-изд. л. 10,3

Бум. л. 2,5 Тираж 60200 Заказ 1018

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10